

лауреат премий
«БОЛЬШАЯ КНИГА»
и «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БЕСТСЕЛЛЕР»



Александр
Терехов

ДЕНЬ, КОГДА Я СТАЛ
НАСТОЯЩИМ
МУЖЧИНОЙ

Александр Терехов

**ДЕНЬ, КОГДА Я СТАЛ
НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ**

Рассказы

АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Т35

Оформление переплета — Ирина Сальникова

Терехов, Александр Михайлович

Т35 **День, когда я стал настоящим мужчиной** : рассказы / Александр Терехов. — Москва : АСТ, 2013. — 348, [4] с. — (Проза Александра Терехова).

ISBN 978-5-17-080912-7

«День, когда я стал настоящим мужчиной» — книга новых рассказов Александра Терехова, автора романов «Каменный мост» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА») и «Немцы» (премия «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР»).

Это истории о мальчиках, которые давно выросли, но продолжают играть в сыщиков, казаков и разбойников, мечтают о прекрасных дамах и верят, что их юность не закончится никогда. Самоирония, автобиографичность, жесткость, узнаваемость времени и места — в этих рассказах соединилось всё, чем известен автор.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-080912-7

© Терехов А.М.
© ООО «Издательство АСТ»

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

Если опустить устрашающий вес младенца, крещение, из деликатности произведенное в восьмистах километрах от коммуниста-отца, и описание родного панельного дома над истоком Дона (вот она, израненная колода для рубки мяса справа от подъезда, доминошные столы возле барачков и ряженые на свадьбах, среди которых особо выделялся милиционер с нарисованными усами), начать следует с того, что прошлым летом моя дочь (назовем ее Алисс, что означает «цветочек бурачка»; Аверилл означало бы «сражение борова»), обменяв несколько тысяч фунтов своей матери, отданных репетиторам, на завидную двузначную цифру в графе

«по итогам ЕГЭ» и не расслышав ни одного из моих, так упорно испрашиваемых советов, встала в очередь за лотерейными билетами в приемные комиссии пяти университетов.

По окончании любого из них Алисс ждала жестокая гуманитарная нужда, — предрекал ей отец, — проедание родительского наследства, оскорбительная зависимость от мужа (есть вещи похуже, чем развод, дитя мое!), вымаливание на ресторанных задворках хлебных корок и уборка помещений в домах богатых одноклассниц, чтивших в свое время мнение родителей.

Что оставалось старику отцу? И так уже изогнутому межпозвоночной грыжей — адским порождением неумеренности в тренажерном зале?

Сопроводжать. Ожидать возле заборов, «барьеров» и «рамок», покусывая картонные края опустошенного стаканчика — двойной эспрессо! Гадать: какой выйдет Алисс? А вдруг — опечаленной? На все вопросы успела ответить? Шпаргалка цела? Скорее покормить! А вдруг в это самое мгновение его цветочек прозрел, что мир несправедливо устроен, всё заплачено и раскуплено, и на лучшие места все прошли регистрацию еще из дома?!

В те дни, полные мучений, я стоял среди подобных, в молчаливой толпе, словно ожидающей выноса тела. Впускали абитуриентов, предъявлявших справки, выходили выпускники, прижимая к груди дипломы. Казалось: это одни и те же люди, беспо-

лезной, без последствий таблеткой проглотившие за дверной взмах пять лет, одинаково чуждые Храму Знаний (поделив меж собой «еще» и «уже»); всего-то разницы в паре сантиметров роста да в осанке — волнение входящих, равнодушие покидающих; и в сторонах — расходились в разные стороны.

Меня, всю предшествующую жизнь убеждавшего Алисс, что оценки, конкурс, скверное настроение или благодушие экзаменатора, зачисление и наименование места учебы не имеют ни малейшего отношения к Судьбе, вдруг настигали воспоминания, а следом накатывал ужас животного (казалось: да, так, вот этим сейчас решаются жизнь и судьба), и я шептал хвалу Господу: какое счастье, что я больше не абитуриент!

Первыми выходили отличницы — некрасивые, или красивые, но едва заметно хромающие, презрительно кося глазами: такая легкотня, даже скучно! — отличниц никто не встречал, первым движением на свободе они поднимали к уху телефон и безответно пробирались сквозь вопросительные стоны: что? Какая тема? По сколько человек в аудитории? Следом появлялись детки непростых, непривычно усталые и привычно спокойные, их встречали толстозадые адъютанты в розовых рубашках, выбираясь навстречу из недр «мерседесов», уже на ходу звоня: «Наши дальнейшие действия? В какой подъезд? Ручкой писал фиолетовой!», а потом уже — «основная масса».

Я жалел провинциалов — своих: юношей в отглаженных брюках, начищенные жаркие туфли, верхняя пуговица рубашки застегнута, чистые лица, отцы с тяжелыми сумками, котлеты в банках, стеснительный огуречный хруст и постукивание яичной скорлупы о макушку заборной тумбы. Провинциалы преувеличенно вежливо обращались к прохожим, долго шептались в сторонке и распределяли ответственность, прежде чем почтительно побеспокоить вахтера: куда нам? И когда царствующее лицо им снисходительно указывало: по стрелке (куда шагали местные без всякого спроса), провинциалы так благодарили и радовались, словно первый экзамен сдан, сделан первый из решающих шагов — большая удача!

Провинциалы — пехота, бегущая на пулемет, только наоборот: пехота вся остается на поле боя — из провинциалов не останется ни один; заплачут на бордюрах, в тамбурах, на родительском плече: ноль пять балла — всего-то не хватило! — обсаженные с первого шага на Курском вокзале следившими за ними стервятниками, протягивающими листовки: а давайте к нам — на платное.

Берегся, отворачивался: спиной к журфаку, лицом к институту стран Азии и Африки — с него сбивали штукатурку, обнажая исторический поседевший кирпич, а на крыше ветер качал многолетний кустарник, — но всё равно вспоминал... Вот что на самом деле владеет людьми, вот где остались и плещут-

ся мелеющими волнами те недели осени: у крыльца и сразу за порогом; я испытывал жалость. Как по-другому это назвать? Волнение и легкую горечь. Да, стало побольше припаркованных машин. Нет, машин я не помню. Да не было машин! С выходящих я снимал двадцатилетнюю стружку: она? Он? Кто-то, кого бы я знал, на этом месте. Почему ты не заходишь? Только однажды я проследовал за Алисс внутрь, и пламя охватило меня, тяжелый избыток крови. Абитуриенты и болельщики сидели в бывшей библиотеке слева от лестницы, факультет обшарпан, паркет скрипуч. Я обошел с тылу лестницу; какой-то «отдел размещения» — куда подевалась газетная читалка? Продуктовые ларьки как в вокзальных подземельях, лестница стала пологой, таблички «институт», еще выше; я вошел в аудиторию, и она словно сама мне подсказала: «Триста шестнадцатая!» — доска, кусочек мела, здесь я поступал, и за соседним столом улыбалась самая красивая девушка на свете. А теперь. А теперь. Обмазанный обезболивающим гелем, старик стирал с пальцев мел, словно страхась оставить отпечатки пальцев.

Алисс, я появился на факультете в одна тысяча девятьсот, в ноябре, когда сплотившийся на картошке первый курс уже разделился на тех, кто заводит будильник, и тех, кто не знает, что такое стипендия.

Владельцы будильников вставали «к первой паре», «мне сегодня ко второй», дожидались в студеных сумерках двадцать шестого трамвая, перевозив-

шего жестоко сомкнувшиеся спины и тележки на колесах, и запрыгивали, буравились, приклеивались, обнимали, повисали, размещали правую ногу или прищемлялись дверьми, или, согнувшись навстречу бурану, брели наискосок дворами в сторону «Академической» мимо кинотеатра «Улан-Батор», где в душном зале по воскресеньям собираются нумизматы на городской фестиваль запахов пота.

Факультет они покидали с заходом солнца, проводив любимых преподавателей до метро, и после вечернего стакана сметаны в столовой встречались в библиотеке общежития, а когда она закрывалась, занимали столы в читалках на журфаковских (со второго по восьмой) этажах или кашеварили на кухне, стирали, рисовали стенгазеты, писали мамам в Днепропетровск или поднимались на девятый этаж, к почвоведом, спорить о политике — почвоведки (почему мужчины не поступали на почвоведение — и доселе одна из зловещих тайн кровавого коммунистического режима) настолько радовались любому мужскому обществу, что я до сих пор краснею, когда добродетельная жена и самоотверженная мать громогласно и без стыда признается: а я закончила почвоведение МГУ! Кто же этим хвалится?!

Те, кто не заводил будильников (ветераны армии, ветераны производства и горцы, проведенные в обход, через «рабфак» национальной политикой КПСС — небритые племена!), спали долго, спали почти всегда, сутками, и пили почти всегда, иногда

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

работали сторожами, уборщиками или мелко мошенничали, отчислялись, восстанавливались, занимали деньги, принимали гостей, роняли моральный облик в первом корпусе, где жили психологи, писали объяснительные участковому и в университете появлялись только на сессию, а в основном спали, ели и пили, и — не знаю, как выразиться современно и точно, — короче, у них было много знакомых девушек. Те, кто не заводил будильников, искали этих знакомств. Не всегда успешно. Но постоянно. Получается, они жили в раю, улица Шверника, девятнадцать, корпус два.

Последние, дремотные и неподвижные годы советской власти лишили остатков смысла учебу, поиск должностей, уважение к государственной собственности, послушание закону, честную жизнь, службу Родине — нет, никто не знал, что очень скоро дорога к окончательной справедливости в виде бесплатного потребления упрутся в стену, и пойдем назад, поэтому первые станут последними, но все как-то чувствовали, что ехать смысла не имеет. Немного пионерия, побольше комсомол, а лучше всех армия (партия нас не дождалась, двух сантиметров не хватило!) объясняли человеку: хочешь остаться полностью живым — уклоняйся и припухай. Малой кровью, не выходя на площадь, отцепляй от себя потихонечку веления времени, как запятые репейника: надо числиться — да пожалуйста, на бумаге — участвуй; голосуй — если прижмут;

попросят — выступи; заставят — приди и подремли в последнем ряду, но держи поводок натянутым, чуть что — уклоняйся, возьми больничный, забудь или проспи и припухай себе помаленьку, не взрослей, оставайся беззаботным и молодым среди смеющихся девушек.

Вот так поделился и наш курс, когда я появился в первых числах ноября в учебной части, уничтоженный потерей комсомольского билета. Мне еще повезло, из части меня уволили первым. Моя армейская служба текла в подвале штаба на Матросской Тишине под грохот вентиляции. Единственное окно выходило в бетонный колодец, в который спускались голуби умирать; снега и листьев не помню. Спали мы в том же подвале, тридцать метров вперед по коридору и налево, выдержав за полтора года нашествие крыс и вшей.

По утрам, до появления офицеров и генералов, я поднимался в туалет на второй этаж почистить зубы, умыться, постирать по мелочам (по-крупному стирались по субботам в бане в Медвежьих Озерах), или на третий этаж, если второй захватывала уборщица, или на четвертый, где сидела служба тыла.

Тот день был особенный — я потратился на зубную пасту. Хватит ради сохранения денег клевать щеткой зубной порошок — до конца никогда не смоешь потом его крапины с рук и лица! Скоро конец казенной нищете, ждет нас другая жизнь — так радостно чувствовал я и сжал с уважением тяже-

лый тюбик, пальцами слегка так прихватил, чтобы не выдавить лишнего. Но паста наружу не лезла.

Оказывается, горлышко зубной пасты запаяли какой-то блестящей... типа фольгой — сперва полагалась протыкать, а не жать со всей дури. Вот такая паста в Москве. Мы, конечно, отстали. Проткнуть чем? Я поковырял мизинцем, понадавливал рукояткой зубной щетки — фольга вроде промялась, но не порвалась. Нужно что-то острое. Топать в подвал за гвоздем времени уже не было, вот-вот повалят на этажи лампасы и папахи, и я догадался, что, если резко сжать тюбик обеими руками, паста сама вышибет преграду и вывалится наружу. Конечно, я слегка разозлился. Если продаете товар недешевый, так делайте его удобным.

Сжатие должно быть резким.

Я прицелился, вытянул руки к раковине... Чтоб если излишек... Если вдруг капнет, то не на пол...

Раз!

Не поддается.

И р-р-раз!!!

Получилось, как я и предполагал. Даже с перебором.

Да, тюбик — да он просто взорвался в моих руках!

Словно внутри в нем всё давно кипело, распирало и томилось, и радо было брызнуть наружу, всё, вывернуться до капли, крохи малой — всё! — оставалось только скатать отошавшую упаковку тру-

бочкой и выбросить: так и сделал. Вот тебе и надавил. Вот тебе и на «разок почистить зубы»...

Я сунул щетку в раковину — зацепить пасты на щетину. Но — пасты в раковине не было! Ни капли. Она вся куда-то делась. Я огляделся: да что же это такое? Как всякий невыспавшийся человек, которому кажется, что он видит всё, а он не видит всего... Да еще столкнувшийся с бесследным исчезновением вещества в закутке над раковиной возле трех кабинок... Напротив зеркала... Над коричневым кафелем...

Словно и не просыпался — дурной, невероятный сон.

Да еще пора уносить ноги со второго этажа.

Тюбик, похоже, вообще был пустой! Бракованный! Просто лопнул.

И вдруг, уже прозревая жуткое, прежде чем начать понимать, я обратил свой взор на самого себя... О, так сказать, боже!!! — оказывается, своими ручищами я так даванул на бедную пасту, что она бросилась и вырвалась из тюбика не вперед, через горлышко, а назад, разворотив шов, плюнула не в раковину, а вlepилась мне в живот и вот сейчас жирной мятной нашлепкой растекается по кителю и отращивает усы на брюках.

Бежать! Я наскоро вычистил зубы, обмакнув щетку в пахучее месиво на животе, два раза намочил под краном руку — протер лицо и пригладил волосы, схватил свои пожитки и — на лестницу (на-

до было, как всегда, сперва прислушаться, а потом выглянуть), где все неразличимые стояли навтыжку потому, что двигался один — поднимался, шагал себе Маршал, Командующий нашего Рода Войск, высокий, отрешенный, никогда не глядящий по сторонам, глаза словно отсутствовали на красиво, нездешне вылепленном лице, погруженный в размышления о трудностях противостояния армий стран Варшавского договора агрессивным замыслам... Я отшатнулся, юркнул, переждал: а теперь? — теперь дежурный по штабу, полковник Г., прославленный предательствами друзей по оружию — алкоголиков, почему-то шепотом повторял мне: иди за ним! Командующий Рода Войск сказал, чтобы ты шел за ним! Полковника Г. трясло, он не мог показать рукой (в его дежурство!) и твердил: за ним! Срочно за ним!

Что мне оставалось делать? Идти чистить сапоги и искать под кроватью фуражку? Чудовищная волна подхватила и с ревом потащила меня, ускоряясь, прямо в грозно гудящее жерло Судьбы — в приемной, еще не расслабившиеся после приветствия, два адъютанта-майора хором вскрикнули: куда?! Я обморочно промямлил: товарищ командующий сказал зайти, — и прыгнул в пропасть.

Маршал сидел далеко впереди, метрах в десяти, боком за столом, словно переобуывая туфли, я, исполнив что-то типа «рядовой такой-то по вашему приказанию», остановился возле глобуса размером со

спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором на Землю вернулся Гагарин.

Маршал с восемнадцати лет готовился бомбить Америку, его интересовали только бомбардировщики, и полеты, и запускание ракет, а всё вот это вот хождение строем, рядовые и ефрейторы, склады ГСМ, зимняя форма одежды и чтение бумаг его тяготило; я никогда не слышал, чтобы маршал ругался, обращал внимание на цвет бордюров, опоздание водителя, тихо приезжал и тихо уезжал; это была наша первая и последняя встреча.

Маршал с таким недоумением и скорбью взглянул на меня, что меня ожгло: а вдруг дежурный ошибся? Вдруг Командующий нашего Рода Войск не меня поманил за собою в бездну?! — и сам теперь не поймет: зачем явился боец и мешает переобуться, оскорбляя надоблачный и сверхзвуковой мир маршала повседневностью своего вида.

Я носил пожилые сапоги сорок шестого размера (носок левого чуть порезан ножом) и мог разуться обыкновенным взмахом ноги (родные мои сапоги потерялись в «учебке», и гиганты мне выдали «на время», длившееся уже полтора года); за штаны я не волновался: новые (старые убила погрузка цемента на гауптвахте), но на два размера больше моего, шароварами я здорово напоминал украинского хлопца, из тех, что делают поперечный шпагат в прыжке, исполняя национальные танцы; слева на груди помещался знак «Отличник ВВС»,

справа выпирал засаленный карман с кошельком, военным билетом, леденцами «дюшес», шариковой ручкой, ниткой-иглой и комсомольским билетом (если бы его не сперли!), лицо криво пересекали очки, склеенные на переносице (криво они сидели потому, что винтик из правой дужки вывинтился, упал и закатился, и вместо него я вставил кусок канцелярской скрепки), в правой руке я держал зубную щетку, полотенце и мыльницу, в левой — выстиранные и на совесть отжатые носки и трусы, не предусмотренные уставом — носить полагалось портянки и кальсоны; на животе моем пласталась и стремилась стечь белесая студенистая нашлепка, похожая на след от удара футбольного мяча. Я не пытался что-то объяснить: зачем? Мы же не дети, мы уже понимали, что никто и не думает про тебя в смысле «что случилось?» или «чем я могу помочь?», для всех ты прозрачный — каждый думает только про себя, армия избавила от ненужных мыслей, да кому ты на хрен нужен? Может, я всегда так хожу и мне так положено.

Лицом Командующий походил на хохла-отца. Только дед Никита был дробненький. А тихостью и неразличимостью речи — на мать. Баба Таня вечно ходила в теплом платке, согнутой, не поднимая смятого морщинами, словно плачущего лица. Она умерла первой, а дед Никита (на улице его звали на хохляцкий манер «Ныкита») даже обижался: «Не могла пораньше умереть, я б устроил свою

жизнь», — и один пожил еще порядком, хотя оглох и высох. За пятнадцать лет я ни разу не видел его без общевойсковой фуражки и офицерской рубахи, словно намекавших на ратное прошлое рубшика мяса на вокзальном рынке. Еще он шил тапочки и сапоги (уразовская родня подгоняла обрезки с кожзавода) и, как бы сейчас выразились, отличался «излишней жесткостью при урегулировании долговых обязательств» в пору, когда в Валуйках отстреливали и варили на обед галок и ворон, а Ныкита вкладывал средства в недвижимость на улице Ворошилова.

Дома с ним особо никто не разговаривал — веселый брат Маршала ремонтировал холодильники, выпивал и рыбачил, невестка занималась больной дочерью. Поэтому, если не шел дождь, дед в сопровождении пучеглазой собачонки Бимо шаркал до нашей хаты, помогая себе палкой, — подолгу, с минутой, выжидал, прежде чем двинуть новый крохотный шажок, — и изнурял бабушку однообразными («А де Рита? Де Сашко?») беседами на лавочке — на крыльцо ему было трудно подняться, да и чаем в наши времена и в нашей местности гостей не поили. Бабушка кричала на всю улицу, остальные разбегались и прятались, как только щели забора пересекало равномерное, ползущее движение небольшого роста, а бабушка терпела: родич! — ее сын женился на дочери Никиты; неравный поначалу брак, но его неравенство с годами стиралось. А теперь уже стерлось совсем — никого не осталось,

я один над этой пылью, доказывать некому, что мы поднялись, и живем не хуже других, и фотографировались на фоне Биг-Бена. А хотелось доказать.

То есть мой дядя женился на родной сестре маршала, и сам Маршал, Командующий Рода Войск, конечно же, мог где-то слышать, в общих чертах, что благодаря его доброте один солдат не заносит хвосты самолетам на аэродроме Мары-1 и не чистит снег круглосуточно в Арединске (в каждом роде войск есть места, имеющие совершенно не охраняемую границу с адом; взрослые люди плакали на моих глазах, улетая служить в Арединск), а где-то в тепле, в Москве, поблизости (вряд ли он знал, что в подвале штаба живут люди и что в кинобудке зала для оперативных игр я храню гражданскую одежду и по субботам перелезаю забор в секретном месте за гаражами, известном всем Воздушно-десантным войскам и всей Военно-транспортной авиации), и — довольно, не надо подробностей.

Скорее всего, Маршал уже и забыл про свою доброту, но сегодня был подходящий день, чтобы вспомнить и пожалеть.

Он заговорил неразборчиво и равнодушно, как говорят люди для самих себя, раскладывая на ногах одеяло перед сном, как бубнят, вытирая лицо полотенцем, как спрашивают сигаретку на встречном ходу, — я не расслышал ни слова, но боялся приблизиться или переспросить, поэтому догадывался по интонации, по смыслу (вот что спраши-

вал бы я, будь Командующим), мы говорили через переводчика, я был и собеседником, и переводчиком: что ты здесь делаешь? — что-то вроде этого спросил Маршал.

Я ответил: служу; его это и удивляло: ведь приказ министра обороны об увольнении в запас давно напечатан, типа того, он слышал про это. Я еще подумал: а может, всё это время Командующий тяготился моим присутствием, бременем не положенной ему доброты?

Я пустился в объяснения: увольняют-то не прямо сразу. Проходит после приказа месяц, и отпускают «нулевку» — самую первую партию, через неделю — первую, еще через неделю — вторую и так далее, распределяя по заслугам и достижениям. Особенно «выдающихся» солдат отпускают в последней партии — 31 декабря в двадцать три пятьдесят девять. Самая страшная угроза в Вооруженных силах: «Уйдешь с первым ударом новогодних курантов».

Маршалу стало тоскливо и скучно, он так же отстраненно из-за дымки уточнил: а что это за партии такие?

«Нулевка» — ваш, товарищ Командующий Рода Войск, водитель. Первая партия — каптер, хлеборез и старший сержант Руденко (за кражу машины пиломатериалов из соседней бригады связи — но про это не стал); вторая (заметил, Маршалу противно, что я загибаю пальцы, и бросил) — медбрат (за сокрытие нашествия вшей), племянник старшего

прапорщика Ковальчука и водитель начальника штаба генерал-лейтенанта...

Командующий дважды шевельнул рукой: молчи и — вали, — я выбрался в приемную, где адъютанты и собравшиеся генералы взглянули на мою зубную пасту с гадливым ужасом, как на вывернутые кишки смертельно раненного, который несется по полю, не соображая, что надо падать: убит.

После обеда мой командир, подполковник Фролов, обладатель невероятно крохотной головы, не ведавший, что водка его вот-вот заберет (какая красавица — заведующая продбазы — его любила! Земля ему пухом!), обиженно сопя, выложил передо мной необходимые документы на выход из армии, а поверх — электронные часы (повалили в одно время — на железных браслетах, цифры, мелодии, рогатые кнопочки по бокам) с гравировкой «Рядовому такому-то от Командующего Рода Войск»; часы украли в общежитии, и я ни разу не пожалел; за проходной я оттолкнулся от земли посильней и — полетел.

Проискав три дня комсомольский билет и пять минут фальшиво поплакав в горькоме комсомола (юный вождь молодежи, навряд ли старше пятидесяти лет, прохаживался у меня за спиной, повторяя: «Как же ты мог это допустить?», — вздохнет, посмотрит, как я вытираю слезы, и по новой: «Нет, я не понимаю: как ты мог это допустить? Может быть, ты находился в бессознательном состоянии?»), трамваем от «Октябрьской» я приехал в рай

на Шверника, в пятилетку счастливого детства, полную (чуть было не написал «невинных») развлечений и удовольствий.

В комнату я попал к своим: пограничник, пожарная охрана, ветеран внутренних войск и уголовник (его зарезали в Саратовской области к середине четвертого сезона); кровать мне досталась напротив входа у холодной стены — без обид, я же пришел последним.

Мы не учились, на экзаменах списывали с конспектов отличников, умягчая сердца преподавателей слабым здоровьем, болезнями и смертями близких, провинциальным происхождением и (у кого имелось) обаянием мужской, первобытной силы, — в отличие от тех, кто заводил будильники и писал конспекты, мы правильно поняли службу, вернее, жизнь.

Каждый семестр приносил нашествие поганых; испуганные отличники с обмороженными щеками, первыми на дальних подступах увидевшие врага, шелестели на кухнях: новый предмет, какую-нибудь там основу советской экономики, логику или зарубежную философию, ведет безумный людоед с пахнувшей кровью пастью, на всех факультетах известный как садист и палач, так вот он на первой лекции сказал (его слушало двадцать человек): передайте вон тем, остальным, что пропуск одной моей лекции — двойка на экзамене, прогул одного моего семинара — двойка на экзамене, отсутст-

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

вие одного конспекта, заверенного моей подписью, — двойка на экзамене, и никаких пересдач — отчисление! — я обещаю, никто не заставит меня сделать по-другому, — так и передайте это тем, кто спит сейчас в общежитии!

Чего скрывать, это было жуткой угрозой для людей, решивших попить чайку на посту и поджегших кипятильником пусковую установку межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой, для людей, дравшихся с комендантскими патрулями и оставлявших без электричества центральный узел связи стратегической авиации, пытаюсь спрятать украденную банку тушенки в каком-то шкафу, оказавшемся электрощитом. Люди, застигнутые на боевом дежурстве проверкой Генерального штаба за игрой в «воздушный бой» — майские жуки слабо тархтели над головой и выводились на цель с помощью привязанной нитки, люди, вышедшие на пятнадцать минут купить водки на всю роту новогодним вечером в Люберцах и обнаруженные через восемь суток в общежитии Харьковского института торговли и питания без копейки денег, — эти люди, ну конечно же, тряслись от страха и тут же, выбросив водку и сигареты, бросались ночами напролет вникать в доказательства бытия Бога Ансельма Кентерберийского и вчитываться в «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, а то учиться плохо стыдно, да еще стипендии лишат — охренеть, как страшно!

Слушателей на лекциях не прибавлялось. «Посмотрим на экзамене», — утешали людоеды шакаливших отличников, и то же самое отличники повторяли в общежитии уже как бы от себя лично: «На экзамене посмотрим», — бессонным ветеранам, измученным карточными проигрышами или спешащим с тяжелыми сумками на сдачу стеклотары.

Я, кстати, очень верил в великое будущее наших отличников. Я верил, что справедливость есть. Что если человек пять лет учился на «отлично», не спал и зубрил, оттачивал произношение, бегал каждое утро до общаги горного института и назад, практически не употреблял, хранил верность обретенной еще «на картошке» любви, прижал к сердцу красный диплом, то судьба ему воздаст, а мы будем гордиться, и показывать близким в телевизоре, и мечтать: а вдруг он помнит, как его отправляли занимать нам очередь в столовой? Но все отличники сгнули без следа, одного, самого выдающегося, увезли в Кашенко чуть ли не с вручения диплома, еще один помелькал какое-то время в исполкоме Союза православных геев, а потом бесследно пропал, про остальных я никогда не слышал; не знаю, на кого обижаюсь за них, но обижаюсь до сих пор.

Но это потом, а тогда — сессия подползала, подходила и вот уже навстречу неслась стаяй разинутых пастей, представала последовательно расположенными ямами разной глубины и ширины — в один шаг, на хороший прыжок с разбегу, прикрытая об-

манчивым хворостом, с костром, разведенным на дне, с ненадежным мостиком — корявым березовым бревном, положенным с берега на берег, и одна — та самая, особенная — яма зияла бездной: только один берег, край земли, на котором испуганным стадом жались мои собратья с зачетками в руках, — всё остальное утопало в едком дыму, в глубине которого что-то булькало и чавкало, обдавая жаром.

Как мы уцелели? Ведь рассказчик, вытягивающий ноги к чадающему камину (не продумали, идиоты, приточную вентиляцию, а теперь побегай, пощи алмазную резку бетона диаметра сто двадцать два — сто фунтов, между прочим, минимальный выезд!), диплома не покупал и с гордостью готовится показывать его внукам. Три «удовл.» можно затереть или объяснить борьбой с тоталитаризмом (не выпавшей же из рукава шпаргалкой): а вы что хотели, чтоб ваш дед сдавал на «отлично» кровавую и лживую историю КПСС?! Это был протест! Не каждый осмеливался себе позволить «три балла» по этому предмету, кхе-хе-хе... Еще неизвестно, чем это могло кончиться! Новым тридцать седьмым годом! Меня обходили, как чумного! Участковый приходил в нашу комнату (пограничник из нашей комнаты свинтил унитаз у соседей, я с самого начала был против, я предлагал ночью вынести со стройки), готовился мой арест!

Уцелели мы чудом, так, два, четыре, шесть... Пять курсов — это десять сессий. То есть в сумме

море расступалось десять раз (может, бабушки наши молились, матери — нет), на каждом страшном экзамене страшной сессии происходило чудо: людоед заболел насморком, уходил в декрет, и его подменяла аспирантка, спешившая на дачу, людоед путал собранные зачетки и вместо верных отличников лепил автоматом «отл.» в зачетки людей, впервые увидевших его на экзамене, людоед пожирал первых пятерых несчастных, а затем бледнел, краснел, потел, несколько раз выбегал «на минутку», а потом лепетал, что «кажется, отравился», возможности продолжать экзамен у него нет, поэтому всем остальным он ставит «хорошо», если мы, конечно, не против. Людоеда направляли в командировку, он падал на скользком и ударялся головой, вдруг проникался, пробивало его человеческое тепло; спросил: «А как вы сами думаете: прав Ницше в своей критике христианства?», я признался: «Это слишком трудно для меня. Я туповат. Читаю, читаю... А понять ничего не могу!» Людоед опустил глаза, словно внезапно устыдясь, и вывел «отлично»; да я три семестра был отличником и получал пятьдесят четыре, а не сорок!

Так с первого дня начались и текли без перерыва эти сладостные детские годы, но, как ни тягостно и больно этого касаться (перо замирает и спешит в обход капнувшей слезы), с того же самого первого дня начался тягостный кошмар, навсегда омрачивший это счастливое время, та беспощадная ноч-

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

ная жуть, от воспоминаний о которой и по сей день стынет кровь в жилах любого, хоть на семестр забредшего на дневное отделение, то, что по иронии Врага рода человеческого носило имя — Света.

В первый же день, когда познакомились и пили, выяснив к ночи, что самые правильные ребята, понявшие жизнь, собрались именно в нашей комнате, один из нестигаемых ветеранов вдруг подорвался и принялся бросать в сумку какие-то утепляющие тряпки, доселе сохнувшие на батарее, произнеся нечто невероятное: пойду спать, завтра к половине восьмого на Ленгоры, нельзя опаздывать.

Я догадался: к девушке? Смысл своего вопроса я передаю без ошибки, саму словесную форму время не пощадило.

Но услышал диковинный ответ: завтра физ-ра.

Вове нельзя опаздывать на лыжи!

Я не понял.

Так это по-детски прозвучало: физ-ра! — из далекой страны, где остались «чешки», «кольца», «канат», «маты» и «спортивки» с коленками, отвисающими, как грустные кадыки, что я даже рассмеялся: херня какая-то! — извините, в смысле: несообразность. Да вы чо? Вы, ни разу не сделавшие зарядку, два года клявшиеся припухать и никогда не вставать в шесть утра, теперь собираетесь ходить на физкультуру, как зачморенные салабоны?! Вы, закалывающие историю партийной печати, диамат, основы литературоведения, английский, субботники, антич-

ную литературу и комсомольские собрания, — боитесь опоздать на «лыжи»?

Тяжелое молчание было мне ответом, все опечаленно разошлись по своим углам, за шкафы, обклеенные вырезками из «Плейбоя», и откуда-то глухо донеслось: «Ты сам всё поймешь».

В один из последующих дней (а скорее всего, наутро) вот что я должен был узнать: дембеля не подозревали, что прорвались на журфак именно в то трагическое двадцатилетие, когда он получил звание «факультета спорта с небольшим журналистским уклоном» — верховодил на факультете не тихий декан Засурский, а заведующая кафедрой физического воспитания Светлана Михайловна Гришина (многие хронисты именуют ее «Гестаповна» — я этого не запомнил, но согласен полностью), сосредоточившая в своих руках колоссальную и бесконтрольную...

Света установила зверские порядки.

Вы, молодое поколение, счастливые выпускники других факультетов и высших заведений, не сможете в это поверить, но я пересказываю не чьи-то басни, всё это происходило не просто на моих глазах, а со мной — живой свидетель! — в последние пять лет советского века, рукой подать; в сердце Москвы, напротив Кремля существовала самая настоящая каторга: Света ставила зачет по физкультуре (вдумайтесь в то, что прочтете следом, именно так!) только тем, кто не имел ни одного прогуг-

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

ла (тридцать два занятия в семестр!) и сдал все положенные нормативы! И ни разу! За двадцать лет своего правления! Света не отступила от этого противоречащего самой человеческой природе правила, особенно невыносимого на факультете журналистики (сборище отъявленных лодырей и проныр) и особенно невыносимого в стране, где ни одна досточка к тому времени не прилегала плотно в заборе к другой, где не выполнялся ни один закон, ни одна буква присяги, где не делалось ничего из того, что говорилось, — и часто я думаю, что главной и последней скрепой русской жизни в конце двадцатого века было не КГБ, а Света с кафедры физвоспитания, и не «всего лишь», а — Света!

И я, серьезный мужик (на курсе попадались и женатые, и отцы), только что снявший погоны, должен буду купить трусы с лампасами, бежать за трамваем вместе с недавними школьниками, «строиться по росту», «равняться», «разминаться» и бросать в кольцо по свистку, если не загремлю прямо на дно ада — «на лыжи», где даже на лавочке в тепле не посидишь, где всё время бегают на время — под дождиком и в любой мороз!

Я слушал и не верил, я, можно сказать (извините за крепкое словцо), тихо изумлялся, но думал обычное русское (неправду говорят, что мы непредприимчивая нация!): ладно, ладно, ну не может быть такого, чтобы ничего нельзя было сделать, все сдались, впряглись, а я — хрен. Начну как

все, присмотрюсь, потерплю, а потом откошу тихонечко и буду припухать, не по зубам я Свете — так думал каждый на первом курсе, и на втором, и так далее, пока проклятое «физвосп» наконец-то не становилось «факультативным».

Во владения Светы на первом этаже — в конце большого коридора маленький коридор и каморка направо, возле мужской раздевалки, — я пришел записываться и сделать всё, чтобы не попасть «на лыжи», — а что я мог сделать? Да ничего. Попро-сить! Тетенька, не ставьте меня, пожалуйста, «на лыжи». Мне не хочется. Ага.

Света оказалась седой — волосы прямые и довольно длинные; тонкие и сварливые черты лица, хрипловатый голос, готовый перекричать любой шум-гам, всегда одинаковая — спортивный синий костюм, кроссовки и свисток на груди, глаза казались мне голубыми, или это так костюм ее и утреннее солнце в спортзале так сейчас отсвечивают в мою память. Чуть задранные плечи. Света не выглядела злодеем, хотя ее лицо казалось промерзшим и заснеженным, и могла посмеяться, но сама по себе, отдельно; в ее облике и поступках я ни разу не чувствовал тепла, того, что бы я предпочел назвать человечностью. Никогда я не слышал от нее ни одного слова, не связанного с «темой нашего сегодняшнего занятия».

Записывал и вычеркивал: сказать? нет? Но скажу: мне Света показалась старухой, ну, или основатель-

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

но пожилой, что ли; только много позже, при обстоятельствах необычных я понял, насколько ошибался.

— Вот, — протянул я свои бумажки, — восстановлен на дневное после армии.

Свету всегда заслоняли плачущие прогульщики и любимчики-спортсмены, всегда я говорил с ней из-за чужих плеч.

— Сентябрь, октябрь где-то слонялся, пузо наедал, а теперь он пришел! — заголосила, накаляясь, Света, она сразу начинала кричать. — Приступает он к обучению. А мне что прикажешь? Куда я теперь тебя дену?

— На баскетбол, — подсказал я, и лицо мое жалостливо искривилось.

— На какой баскетбол?! Ребята уже два месяца играют, освоили основные приемы, отработали технику... На лыжи пойдешь! — И Света злорадно расхохоталась.

— Хорошо, — дыхание мне перехватило бешенство, но я тоже рассмеялся — со злостью; ну и хрен с тобой! Я и оттуда откошу!

— А что так веселишься? — Света кольнула меня взглядом и зачеркнула что-то в своих списках. — Тогда — на баскетбол. Чтобы поменьше веселился. Веселится он. На баскетбол!

Так началась эта война, раны которой и по сей день дают о себе знать.

Каждый дрался со Светой один на один, царапал бетон, перевертывался и налегал спиной на со-

сновые доски гроба. Единственное общее восстание (на первом же курсе) беспощадно подавили.

...Той страшной осенью Света сама плеснула горячих и подбросила взрывчатых веществ, объявила: курс идет в турпоход.

Кто не пойдет, останется без зачета.

Турпоход. Да еще в воскресенье — в законный выходной!

Да еще (впивалась игла за иглой) в половине седьмого утра «встречаемся у пригородных касс на Белорусском»!

«Возьмите с собой бутерброды и термосы с горячим чаем», да еще «оденьтесь по погоде, резиновые сапоги на шерстяной носок обязательно» — это не садизм, это не изуверство?!

«Не забудьте волейбольный мячик и гитару!»

И гитару?! Знаешь, куда ее себе засунь?!

Восьмой этаж второго корпуса дома девятнадцать на Шверника показал наконец-то клыки и поднялся на дыбы — все как один. Никого не надо было уговаривать, с походом Света перегнула палку и шагнула за край, она забыла, с кем имеет дело. Учебные дни — да, баскетбол, лыжи — согласны, это положенное насилие, но турпоход в воскресенье — это беспредел, ни один уважающий себя мужик не встанет в половине шестого и не побежит за первым трамваем — какое это имеет отношение к учебному процессу?! — заседали нетрезвые комитеты, никто больше не боялся, никто, так сказать, не мочеиспу-

скал, и решили так: в понедельник идем скопом к декану, выставляем требования: прекратите издевательства — всех не отчислят, а в воскресенье — спим, в поход не идем, кто пойдет — тот педераст! — и за полчаса до назначенной половины седьмого утра все дембеля, включая больных, собрались у пригородных касс Белорусского вокзала. Нет, никто не струсил, и ни один не изменил мужскому слову. Вышло так, что в ночи одновременно в каждую непрерывно думающую голову вошло озарение: не надо идти в поход, достаточно приехать, отметитья, что «был» (кто там уследит в такой толпе, в поход выступало два или три факультета), тихонько отползти, затеряться в человеческой массе и вернуться в общагу досыпать; и любой скажет — ну, ты мастер.

Света равнодушно переводила взгляд с расписания пригородных поездов на зеленую карту Подмосковья, соединившую ее руки, словно не замечая грозной толпы ветеранов, хотя мне казалось, что иногда дьявольская усмешка чуть трогала ее губы. Мы старались для соблюдения естественности хода событий равномерно распределиться среди возбужденной массы непонятно чему радующихся психологов и филологов, нагруженных рюкзаками, но они почему-то пугались и таяли вокруг нас как снег, на который швырнули раскаленные угли, и мы заново оказывались едины и одиноки в своем пламени и чаде. Следует признать, что по нашему виду никто бы не догадался, что мы туристы и что

вот этим промозглым ноябрьским утром нам предстоит длительная пешеходная прогулка, — мы походили на жильцов внезапно загоревшегося дома: выскочили из окон среди ночи кто в чем успел, кто в чем спал, и теперь, всклокоченные, сонные и хмурые, стоят они плечом к плечу, наблюдая за действиями пожарных. Никаких сумок, головных уборов, теплых курток и сапог — один приехал даже в домашних шлепках на черные носки, — хлипкие ветровки, спортивные костюмы, домашние штаны, высоко открывающие волосатые голени; все эти бывалые, частично усатые и взрослые люди, кое-где украшенные татуировками, умирали от желания спать и курить, переминались, зевали, почесывались и то и дело (договорились: для сохранения естественности хода событий и чтобы Свету не злить — скажет один, но не договорились, кто именно, поэтому брался каждый) выкрикивали: «Да, давайте отмечаться!», «Светлана Михална, да запишите уже, кто пришел! Холодно стоять», «Пометьте, что я был!», «Проверимся по списку!», «Да все уже собрались, давайте перекличку!», «Скоро уже электричка, поставьте “галочку”, кто пришел! Чего мы ждем!» — я и то что-то пытался просипеть, хотя в своей байковой рубашке, позорно заправленной в штаны, так замерз, что не мог даже сложить губы, чтобы подышать на ладони... Вдруг Света подняла карту над головой и потрясла ей трижды, по количеству криков:

— Турпоход МГУ! Электричка на шесть сорок восемь! До Тучково! — и утонула в радостно заготовавших и подхватившихся грузиться походниках — ковбойские шляпы, котелки, топорики, гитары, перчатки и вязаные шапочки.

Часто меня спрашивают (собеседников, которых я выдумываю, всегда чрезвычайно интересуется мое мнение по важнейшим вопросам!): каковы особенности русского национального характера? Я не могу объяснить умными словами, обобщив; могу лишь наглядным примером. Одна из удивительных особенностей р.н.х. в том, что, как только Светлана Михайловна прокричала именно те слова, что я только что занес на экран монитора, и ни звука больше, сразу два закаленных невзгодами ветерана, ближе других стоявших к Свете, обернулись к братьям, отлично слышавшим то же самое, и сказали: «Пообещала отметить всех в электричке». И я сам, трясаясь от холода, на трезвую голову повторил за ними: «Сказала: как поедem, сразу отметит». Второй особенностью р.н.х. является, что в это безумное мгновение я не только сказал это, а сразу же сам и поверил, и понесся вперед всех покупать билет, чтобы сесть к Свете поближе, чтобы, как только она меня отметит, сразу уйти в тамбур под предлогом «курить» и выпрыгнуть на первой же остановке!

Но я опоздал — еще не закрылись двери электропоезда, как к Свете подкосолапил Кавказ (хвас-

тался, что грабит туристов возле ЦУМа, но был всего лишь сыном первого секретаря Хабаровского крайкома): давайте запишем присутствующих. Света что-то неразборчиво и грубо ответила, я, например, явственно разобрал «вы что, дебилы?», но Кавказ, вернувшись в тамбур, пожал плечами:

— Невнятно сказала. Вроде бы: на станции, как приедем на место.

Я целиком понял всё, прошел в вагон, втиснулся меж двух дачниц и застегнул все пуговицы на рубашке. Надо согреться и дать ногам отдых. Я понял: главная цель сегодняшнего дня — не получение зачета, а сохранение жизни. Я смотрел на свои кеды: полчаса — вот самое большее — останутся мои ноги сухими на грунтовой дороге, по мокрой траве — пять минут. На месте своих ног я сквозь наворачившиеся слезы увидел протезы. Окно уже косо исцарапали дождевые капли; я хотел, чтобы мы ехали долго, еще дольше. Чем больше пройдет времени, тем теплее станет на улице. Разница в два-три градуса, едва различимая в обычный день, сегодня может спасти жизнь. Не паниковать. Не опускать руки. Всё время двигаться. В ту минуту возвращение в общагу стало таким далеким, что я понимал: вернусь я другим, такое не проходит бесследно. С каждой станцией в нашем вагоне становилось всё тише, а когда все вдруг повскакивали и повалили за Светой на безымянную платформу какого-то «км», молчание ветеранов стало поистине страшным.

Дождь прекратился, чтобы через полчаса зарядить уже как следует, стеной. Огромное серое и местами черное небо простиралось над великой русской равниной. Куда ни глянь, тянулись пологие холмы и подмышечные черные заросли в ямах и оврагах — ни строения, ни дороги, ни линии электропередач с колокольчиком фонаря, ни ларька с пивом и сигаретами (вру, это же долларечная эпоха, но пусть останется как лучший символ Абсолютной Безжизненности). Открылась пустота земли, готовая нас поглотить, и, пока жалкие трусы с других факультетов и наши однокурсники-«школьники» веселым потоком стекали с платформы на тропу, мы цепенели в предвкушении трагического Пути, как Белая армия накануне Ледового похода, или как Белая армия, в последний раз обращающая свой взор на крымский берег с борта английского парохода. В одну минуту я понял, что если сейчас же, сию же минуту (в которую понял) я (даже если один!) не перейду рельсы, не поднимусь на платформу со стрелочкой «На Москву» и не уеду первой же электричкой, то навсегда останусь дрожащей от жизненного холода тварью, ничтожеством, недостойным никакого высокого предназначения и даже судьбы с большой буквы «Сэ», я невероятно отчетливо и достоверно понял это и, словно меня кто-то подпихнул в плечо, бросился догонять наших, пристраиваясь в хвост колонны и пряча руки в карманы.

Поначалу шли бодро, тропа уходила вниз, и еще вниз, но я не радовался: значит, потом придется подниматься и подниматься. Не оглашая, каждый молчком уже решил, что «присутствующих» отметят на привале — в турпоходе обязательно бывает привал! — и на всякий случай запоминал дорогу: с привала уйдем; нет, Свете нас не одолеть! В низине хоть не задувал ветер, но хлюпала грязь, и несло сыростью от близкой воды, правая нога промокла первой и начала застывать, мы шли, шли, шли еще, но не похоже, чтобы привал приближался, с каждым шагом мы отдалялись от станции, я ждал дождя, но что-то тронуло мою щеку — снег!

Пошел снег!!!

Мне стало в два раза холодней. Надо двигаться. Но какой-то небритый краевед в панамке устраивал «А теперь — внимание! Остановимся здесь. Всем хорошо видно? Задние ряды — слышно?» то у каменной глыбы, притащенной ледником, то на повороте, с которого открывался потрясающий вид на три сосны с раздвоенными стволами, то над поляной, где кучно произрастали редчайшие. Когда он, протерев очки, подвешенные на шнурках к шее, пообещал, что на следующей остановке не ограничится кратким сообщением, а прочтет целую лекцию о гидрологии суши по маршруту следования нашего похода, морпех из наших (или моряк? короче, хрен знает, в общаге его звали Море) задержал за рукав краеведа, обрадованного тем, что его сообщения

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

вызывают сверхплановый интерес любознательной молодежи, и еле выговорил заледеневшими губами: «Если т-ты с-с-с... — Хоть еще раз с-с-с...», — больше Море говорить не мог, по его лицу стекал растаявший снег, посиневшие губы вздрагивали; то, что не смог сказать, Море показал: вот его обе огромные руки ловят что-то мелкое, тщедушное и слабо отбивающееся, медленно душат это мелкое до полного прекращения сопротивления и отрывают на хрен с мясом какую-то важнейшую часть этого тщедушного... Ты понял?

Дальше мы двигались без задержек, краевед не отходил от Светланы Михайловны, изредка оглядывался (достигая, видимо, какой-то выдающейся точки маршрута) и всякий раз встречался взглядом с изнеможенным Морем, и тот ему со страшным значением кивал.

По правую руку выросли сивые камыши, в них обозначился и ширился ручей, я, чуя, как чавкают носки в кедах и немеют стопы, рассчитывал, что отряд возьмет чуть левее, а еще лучше — перпендикулярно и выше, чтобы упасть и сдохнуть хотя бы на твердой земле, в елках, но Света подвела авангард к поваленным через ручей соснам и особенно противным голосом прокричала:

— Этап: переправа! — указала на горный кряж за ручьем. — Затем этап: подъем. И привал.

Услыхав «привал», ветераны растолкали детей и, пьяно шатаясь и оскальзываясь, полезли на тот бе-

рег, царапая руки о сосновые ветки и черпая ногами ледяной воды; тот берег оказался болотом, в спину кричали: «Берите левее!», «Вот же тропа!», но спасать уже было нечего — мокрые насквозь, мы толпой перли в гору, изрыгая проклятия (эти страшные возгласы моих товарищей, многих из которых нет уже не только в живых, но даже и в фейсбуке, и по сей день стоят в моих ушах, когда пивная или арбузная мука под руку с простатитом ведут меня глухой ночью скорбной дорогой через комнаты!), — иностранец так бы перевел эти крики из русского фильма ужасов для западного зрителя: «Я изнемогаю совсем», «Света вконец потеряла голову», «Всё эта старая и недостойная женщина», «Конец моим ногам. И новым кроссовкам», «У меня отмерзли и сейчас отпадут части тела», «Бог мой, как же мне плохо», «Как же я устал», «Как же я угодил в эту неприятную ситуацию», «Когда же кончится этот неприятный поднадоевший подъем», «Что за недоразумение!». Когда Света вывела поход к привалу, ветераны, сбившись вместе, тряслись «бы-бы-бы...» над кучкой дымящейся бересты, содранной когтями с ближайших берез, зажав ладони под коленями, и не замечали уже ничего — ни разведенных костров, ни веселого чаепития, ни песен под гитару, чуть не избивли какого-то первокурсника с психфака за вопрос: «Не составите мне компанию в бадминтон?» — лучшие сыны России (в который раз!) бы-

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

ли вырваны из домашних постелей и обречены на смерть в ледяной пустыне!

Света наградила участников «галочкой» только на платформе Белорусского вокзала. Каждого второго падающего от усталости ветерана, облепленного хвоей, ошметками паутины и ржавыми березовыми листьями, в черных по колена, заледеневших штанах, она подозрительно допрашивала: «А что, разве ты ходил с нами? Что-то я тебя не помню... Может, ты только сейчас подошел?»

Мертвецы брели с трамвайной остановки в общагу и букетиками несли в руках бутылки водки. Попарив ноги и нажравшись, я сутки спал, или лежал лицом к холодной стене, и не встал, даже когда баскетболистки-пятикурсницы со второго этажа приглашали на макароны с мясом. Думал я одно: не сдамся.

Первое занятие далось легко — стучи себе мячиком; я даже удивился, когда Света после «Закончили!» спросила: «Ну, как ты?» «Да нормально», — и потерял сознание. Когда очнулся, Света стояла надо мной, уперев руки в боки: «И так каждый, кто приходит из армии. Чем они там занимаются?»

А вот первый зачет, и последующие все... Мало посещать — еще и сдай нормативы: пробеги по диагонали — попади в кольцо, пробеги по кругу — попади, пробеги в паре, правильно прими мяч и попади, пробеги назад — правильно отдай, попади с точки штрафного — шесть из десяти, справа с уг-

ла — шесть из десяти, с левого угла — шесть из десяти, с трехочковой линии — шесть из десяти, — я бросал целыми днями, умываясь потом, ну, не попадаю я шесть из десяти, и что теперь — вон из журфака?! «Перебрасывай», — командовала Света, а потом: «Завтра продолжим», — мне! — члену Союза журналистов с семнадцати лет, чье имя огромными буквами печаталось в газете «Московский железнодорожник», — бросал мяч каждый день, бросал, бросал дотемна, две недели подряд, пока не забросил шестой из десяти, а потом и седьмой, и... Света заорала: «Да хватит!» — и с того попадания каждый семестр разломился на солнечную половину и кромешную тьму.

На свету мы спали, наслаждались и чудили, и в какой-нибудь особенно беззаботный день, победав в пельменной напротив «Боровицкой», лениво брели к факультету, и, расположившись на завалинке под сенью, если память не изменяет мне, лип, рассматривали проходящих красавиц с вечернего отделения, и поддразнивали возмущенно отводивших взоры отличников... Света всякий раз появлялась непонятно откуда, возникала сама собой на самом видном месте со своим свистком, как потерянная и возвращенная домовым вещь, с такой неожиданностью, что я невольно подскакивал с криком отчаяния.

— Отдыха-аем. — Света словно любовалась. — А я что-то не вижу тебя на занятиях.

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

— Всё отработаю, — уверенно ни разу не получилось, я сипел.

— Тридцать два занятия? — что-то радовало Свету, улыбка растекалась, и черты лица утрачивали резкость.

— Все тридцать два.

И солнце гасло.

Наутро я ехал на «Беговую» на станцию переливания крови — прогулы смывались кровью по «450 мл — два занятия»; чтобы закрыть семестр, хватило бы восьми литров, но у меня за полтора месяца до сессии столько не набиралось. Приходилось отрабатывать, но только по одному занятию в день — Света заботилась о нашем здоровье: вам нельзя перенапрягаться!

Счастливы те, в ком фраза «студенческие годы» воскрешает в памяти ветки сирени, пыльные лица сотоварищей на заседании Научного общества факультета и твой крепнувший голос, провозглашающий открытие, которое, как тебе казалось, перевернет мир, мудрые слова Учителя, извергающиеся в аудитории, где в воздухе плавают золотистая пыльца, восторг высокого знания, обретенного упорным трудом, усталые вечерние шаги к метро и сожаление: зачем же не позволяют учиться и ночью?! — белый локон подруги на лабораторной работе и ночные, сперва стыдливые, а затем всё более неистовые мечты о госэкзамене... Мне же выпала горькая доля — в памяти лишь одно: вот я уже женатый, отец малень-

кой дочери, да я уже прописался в Москве, а всё так же бреду на кафедру физвоспитания с тяжелой сумкой и облачаюсь в не успевающие сохнуть майку и трусы...

В Лондоне, на книжной ярмарке, где как нигде, верней, нигде как здесь, как нигде... Херня какая-то получается! Короче, как всякий русский автор, я чувствовал себя здесь особенно одиноким и уязвимым в тот миг, когда, застыв в толпе, размышлял: а не нагрел ли меня индус в кассе при обмене евро на фунты (забыл в отеле паспорт, а в ублюдочном «Марксе и Спенсере» на Оксфорд-стрит, где рекомендует менять Интернет, обмен по паспорту!); правой рукой я крепко сжимал и слегка разжимал две пачки по десять фунтов, пытаюсь прикинуть их толщину, левой — две пачки по двадцать, когда рядом остановился солидный англичанин и с достоинством произнес:

— Я немец. Но давно здесь живу, — и представился, фамилия на «х».

Его имя мне ни о чем не говорило, я размышлял: где пересчитать деньги? Постелить на пол газетку... Как-то неудобно опускаться на колени прямо на русском стенде. С другой стороны, Россия — почетный гость.

— Я работал с вами в журнале «Огонек».

Когда это было, толща времени закрыла от меня четвертый и пятый этажи на Бумажном проезде, отдел морали и писем... По какому же курсу наменял мне урод в чалме?

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

Обиженный немец сделал шаг, чтобы удалиться, но обернулся с последним:

— Я учился на журфаке тремя курсами младше. Мы с вами играли в баскетбол.

Слезы хлынули из моих глаз, и мы обнялись. Брат, брат!

Конечно, удача и редкость: он, блин, играл со мной в баскетбол...

Да за пять лет на журфаке не осталось студента или студентки, с которыми бы я не играл в баскетбол, — да я, блин, с каждым успел сыграть!!! — я жил в спортзале!

Да я состарился на той лавочке!!!

За этими решетками на окнах!

Хоть клялся: уйду по весне, по-тихому, как вскрыется лед, с началом навигации, залягу в люлю (так в общежитии именовали кровать), и до сессии меня никто не поднимет!

И побежал: Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота написало декану: гласностью и демократизацией совершенствуется, как вы знаете, социализм, подудло обновлением, но авторитет армии, святыни патриотизма должны остаться незыблемыми и защищенными от злопыхателей и шавок — как в этом деле обойтись без главного орудия (так и написал) журнала «Советский воин», вашего студента Т.? Так не опутывайте его формализмом бездушных установлений (да кто вы такие перед величием Главпура?),

дайте Т. «свободное посещение» по «физвосп», чтобы он, не отвлекаясь, стоял на страже! Мы не просим, это ваш долг. Генерал-полковник, подпись похожа на настоящую.

Света ответила: не надейся, ты у меня каждый пропуск отработаешь.

Но я не из тех, гибких, скользких и переменчивых, лишенных достоинства и принципов, легко отступающих от убеждений, поэтому через пару месяцев я побежал опять: уже звезда гласности и перестройки, главный редактор «Огонька», усилившись двумя народными депутатами, обратился к декану: мы разгребаем грязь, сокрушаем косность и ложь армейского мышления и тюремные нравы, воцарившиеся в казармах, а наше главнейшее стенобитное орудие, студент Т., блестяще успевая по перво-степенным предметам, вынужден отвлекаться на какую-то... Вместо того чтобы еще больше, еще сильнее, еще жарче... И даже с выездом в командировки! Да предоставьте ему «свободное посещение» по «физвосп», не стойте на пути многопартийности и нового Союзного договора!

Света сказала: запомни, мне никто не сможет приказать. Ты у меня еще поплаваешь «четыре посто», я тебя еще на коньки поставлю, и в эстафете побежишь, и в длину прыгнешь, и — отработаешь каждый пропуск! И последним получишь зачет.

Как бы не так! — и ты запомни, ты просто меня еще не знаешь, я не как все (рычал я про себя),

я тебе... Заболеть, подумал я. Вот что нужно: немеет рука, нервное истощение, чешусь, болят суставы — заболеть и перевестись на лечебную физкультуру (этим бредили все). Я взялся почитать медицинскую литературу (лучше, конечно, дерматологию какую расчесать, чтобы три года лечиться) и перед зеркалом отрабатывал плаксивый вид, но выяснилось, что в поликлинике МГУ, неведомо почему считая студентов журфака склонными к симуляциям и жульничеству, в кабинет «Терапевт факультета журналистики» посадили старуху (до сих пор сомневаюсь, что она имела медицинское образование), которую часто видишь в страшных фильмах: посреди ночи тихо вплывает в спальню героя и, дурашливо хихикая и потрясая седыми космами, душит его шелковым шнурком.

После того как к «терапевту» сходили профессиональные эпилептики и люди с переломами позвоночника и вместо направления на лечебную физкультуру получили богомерзкий смешок: «От картошки, значит, решил откосить? К мамочке захотелось съездить? Прекрати обманывать врача!» — я даже не стал пытаться, но придумал новое: тепло. Вот.

Все пытаются Свету обмануть, все ее ненавидят, а вдруг она ранима и одинока? Вдруг она нуждается в участии и способна пожалеть небогатого и честного провинциального парня? Надо стать понятным ей, открыться душой. На баскетболе я начал стараться, заводил разговоры о бедном детстве,

и скудности быта в общаге (а вдруг я недоедаю!), и как мне трудно писать, — вмещая в сердце всю мировую скорбь! — а вдруг меня ждет трагическая судьба? — и тут же я спрашивал: а как у вас, Светлана Михайловна, дела? Мне показалось, или чем-то огорчены сегодня? Трудно вам с нами, как же я вас понимаю... Вырывал из ее рук сетку с мячами и нес сам, тушил свет в зале, оставался после занятий, чтобы проветрить. И чего же я добился?

Почти ничего. Светлана Михайловна заметила мое старание лишь однажды. Когда сдавали кросс, когда на отметке «один километр», едва не теряя сознание, я обошел двух мастеров спорта с юридического факультета и несея, топал впереди всех, а когда увидел на повороте Свету с громкоговорителем в руках, прибавил еще: сейчас! Невозможно не заметить! Вот так я здорово бегаю!

Я летел, пыхтел, хрипел, подымая колени, сдувая капли пота с губ, с любовью косясь на Свету, а ее (так удачно получилось) окружали мои по-весеннему голоногие однокурсницы, готовясь к забегу, — наступила удивленная тишина: кто же это возглавляет гонку, да кто же этот герой? — Света наконец подняла громкоговоритель и на весь стадион объявила:

— Терехов, зад подними!

И я потопал дальше.

Что придумать еще, я не знал. К середине второго курса я уперся лбом в невозможность так суще-

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

ствовать далее. Свету я, как и все, конечно, боялся. Однажды я чуть не угодил под железнодорожный вагон — страшно вспомнить. Но этот ужас несравним с тем, что я испытал, когда один из наших случайно (хоть и не прямым ударом, а навесным) засадил Светлане Михайловне мячом по голове.

Когда Света оглушенно обернулась — разрывающее душу мгновение! — я, как и все спортсмены в зале, с учтивостью показывал вытянутой рукой на зажмурившегося виновника — не я!!!

Но во мне оказалось еще что-то, что пересиливало страх, я не мог допустить, чтобы между мной и университетской святыней — люлей в общаге — стояли унижающие бессмертную душу отработки тридцати двух занятий.

Всю свою жизнь (на закате так можно сказать) я пытался быть настоящим, и тогда, на дне моего отчаяния, я уразумел, что настоящих выходов у меня осталось два: или жениться на дочери Светы (училась какая-то черненькая курсом младше, и все показывали: «ее дочь»), или удалиться на заочное. Я выбрал второй путь по единственной причине: я сомневался, что женитьба закроет мне больше прогулов, чем сдача 450 мл или даже литра крови.

Прощай, студенческое братство и мечта моей мамы «сын закончил МГУ» — в советской провинции заочников презирали. Не скрою... Нет, все-таки скрою. Скажу, что слёз я не лил.

Спасло меня чудо — так я намеревался написать, — но, попросив у официантки чай с облепихой (в этом месяце меня обслуживали Шергазиева Акыла, Марсалиев Омар, Мамашакир Айназ, Жолон Айдана, Раимбердиева Уулкан, Полотова Айчурок, Исламбек Динара, чеки я сохраняю), я вдруг понял: нет, меня спасла вера в предначертанный лицензионный Путь противления кафедре физвоспитания, и в тот самый миг, когда я дизель-поездом прибыл в пустыню, чтобы принести в жертву самое дорогое (стипендию, бесплатное проживание в Москве и покой родителей — попробуй докажи соседям, что не отчислили за пьянку и неуспеваемость), Небо разверзлось над Тульской областью, чтобы сказать: не надо жертвы, храни верность себе, припухай помаленьку и дальше, и мы тебя не оставим; меня окликнул ангел («Как звать? Саня, встань коленочками на край кушетки, прогнись-ка»); чтоб не смущать меня, ангел принял облик хирурга железнодорожной больницы в г. Узловая, а тот, в свой черед, походил на сантехника из тех, кто никогда не снимает зимней шапки и не разувает зимних сапог, но засучивает рукава, взясь и сопя вокруг сочащихся сочленений:

— Спину мы чакнем на рентгене. Эротическое значение у тебя имеют шестой и седьмой позвонки. Лекарств много не назначаю, они цену имеют. Чтобы денег не выщелачивать. Совет такой: когда стоишь — стой так, обтекай, — хирург страшно

изогнулся, словно пытаюсь изобразить шлагбаум платной парковки, — а ноги подворачивай, — ноги его согнулись и затряслись, словно он вот-вот повалится на пол, — а когда сидишь, — хирург перебрался на рабочее место, — вот так, как я перед тобой, — он сильно откинулся назад, едва не опрокинув кресло, съехал под стол так глубоко, что над столешницей осталась видна только его голова, а ноги, как раздвижные, вытянулись из-под стола до середины кабинета. — Так, а что это на животе? — подкрался и пощупал. — Не растет, не болит? Тогда можно не трогать.

— Но можно вырезать?

— Зачем? Если только из соображений косметики, так это ж никто не видит.

— Но можно вырезать? Сделать мне операцию?! — вскричал я с ликованием. — Разрезать живот?

— Ну, ну, — любому хирургу всегда хочется скорей оставить разговоры, взять что-то острое и «помочь», но здесь он колебался. — Если уж так для тебя принципиально, обратись в Москве, там вроде лазером уже...

— Да давайте резать!

И на следующий день меня повезли на настоящей каталке в настоящую операционную (долго маневрировали в узком коридоре, чтобы вкатывать головой вперед) под, как в кино, лампы, делали местный наркоз и настоящий хирург бормотал обыкновенное маньяческое: «Порежем человечин-

ку... Всё ж мы, оф коз, состоим из белковых соединений... Начинаем, Ирочка?» Ирочка, как в романах о ВОВ, склонилась надо мной, я видел только огромные синие глаза над маской, и поглаживала лоб прохладной ладонью, я лежал на салфетке совершенно спокойный, не понимая, почему так всё намокает подо мной, и шептал Ирочке: вы прекрасны, вы волнуете меня, и это не просто слова, что за этим последуют и ответственные действия, а Ирочка не принадлежащим ее глазам старушечьим дребезжащим голоском рассказывала хирургу, что пишет из армии внук. Минуло три дня, и «терапевт факультета журналистики» захохотала:

— Еще один артист! — и осеклась. — А что это ты такой зеленый? — не зная, что я родился в шести милях от крупнейшего химкомбината Европы. — Ну-ка, садись.

Я присел, раскрыв ладонь на животе, но тут же поднялся с виноватой улыбкой:

— Б-больно сидеть, — еще потрогал живот и, вздохнув: — И стоять больно, — все-таки опустил-ся на стул, повидавший немало крушений великих драматических дарований.

Терапевт потрясла седыми космами, избавляясь от наваждения человеколюбия, и вернула себя в исходное состояние:

— Чего придумал-то?

— Ничего. Я бы вас не побеспокоил. А хирург говорит: обязательно покажись в Москве после опе-

рации, вдруг осложнения, — поморщившись и все-таки не удержав стиснутыми зубами стопа, я задрал майку.

Повязку следовало менять, а тело мыть, но я прозорливо согрешил против гигиены — огромная распухшая и растрепавшаяся повязка цеплялась за мою плоть, сквозь марлевую толщу проступали кровавые пятна, разводы зеленки и брызги йода и бурые потеки того, чему нет названия на языке людей.

Терапевт онемела и подалась вперед, словно оттуда, из моей раны, на нее взглянули внимательные и требовательные глаза, по лицу терапевта быстрыми тенями фореи скользили разноцветные волны, и с каждой волной темнели ее глаза и сильнее судорога перехватывала губы; задохнувшись, терапевт показала головой: да, да, да, она всё поняла, что велят ей жуткие глаза из распотрошенного чрева, не надо больше, довольно, — отвернулась к столу и неожиданно спешно (словно торопясь помочь или не желая давать объяснений о смерти пациента на приеме) взялась царапающими звуками (вот как, оказывается, поют птицы по утрам в раю — довелось услышать при жизни земной!) заполнять направление на лечебную физкультуру и вдруг, словно переключил кто мою жизнь с черно-белой на цветную, обернулась и сказала:

— Так, может, тебя в профилакторий отправить? Вон как тебя слабость бьет.

Я пошатнулся и издал такой сладострастный стон, что после стыдился выйти в коридор на глаза покрасневшей и уткнувшейся в учебники очереди.

Профилактикой!

Мне же не почудилось?

Этот невероятно ослепительный день еще и накрыло небо из стодолларовых бумажек: профилактикой, о боже! — мне предложили профилактикой!!!

Объяснимся же: в университете, где таких, как я, училось тысяч сорок восемь, а таких, что лучше, — тысячи две, в одном из плеч Главного Здания МГУ в незапамятные времена устроили профилактикой человек на шестьдесят — этаж одноместных комнат, где студенты жили и четырехразово питались (внимание!) — двадцать четыре дня за шестнадцать рублей двадцать копеек, проходя (в стоимость входит) разные щекотные, пушистые и зажиточные процедуры вроде массажа, обертываний, покалываний и купаний в растворах — вот так!

Скажете: врешь!

А вот и не вру!

Старики вспоминали, что профилактикой задумывали, чтоб подкормить слабых здоровьем отличников, затем всё это как-то преобразилось в просто «для отличников», затем перетекло в «для отличников и общественников», а к пятилетию моей учебы дорога в мечту уже настолько заросла, что ничего определенного «для кого» и «как там» уже сказать было невозможно, хотя я сам лично выпи-

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

вал с выпускником, который хвастал, что парторг его курса слушал на университетской партконференции выступление парня, отца троих детей, побывавшего в профилактории за активную общественную работу.

Общественная работа! Я тоже пытался: записался в «народный контроль», чтобы выгрызть льготную путевку в спортлагерь в Пицунде. Поучаствовал в «контрольной закупке» в столовой — после чего два месяца боялся туда спуститься; этим и кончилось.

А сейчас — в профилакторий! За шестнадцать рублей! И двадцать копеек!!!

Двадцать четыре дня — жрать и спать. Ходить на массаж! Уборка в комнатах!

И чистые полотенца...

Я чувствовал себя самым крутым на курсе. На факультете! И в двух корпусах общаги на Шверника.

Я — единственный, кто ушел от Светы, и я — переезжаю в профилакторий!!!

Кто знает, а может, я послан на свет, чтобы прожить именно этот день и стать примером: сильный духом получит блаженство, если выстоит до конца!

Света расчерчивала расписание стрелкового кружка (тысячи раз мне снилась эта минута, вот она, ничего не упущу), я без приветствий и остановок перегнулся через трех стоящих на коленях первокурсниц (трясли склеенными ладошками, размазывали сопли: «Светла Мих... Пощадите! Н-ну пожалуйста, ну последний, распоследний разик... Свет-

ла Мих... Умоляем! Не убивайте! Пожалейте нас!»), сунул Свете под нос направление студента такого-то на ЛФК с печатью поликлиники — на семестр! — развернулся и, насвистывая, вышел — зайду в спортзал, полюбуюсь, как ребята разминаются: надо же — в баскетбол! Строимся по росту. Честное слово, как дети. В армии не наигрались...

В каморке Светы линейка шлепнулась на пол, грохнул стул, взвыли испуганно первокурсницы — а я шел себе.

И улыбался.

Оплачивать шестнадцать двадцать за профилакторий я приехал невменяемым от счастья и возбужденным — чуть не сел за изнасилование: девушка в бухгалтерии так выставила правое бедро в разрез, что я на нее при трех свидетелях повалился прямо с порога, но вовремя заметил, что она на девятом месяце; в очереди передо мной скромно ожидала пышная девица в спортивном костюме, собравшая волосы в жидкий хвостик, улыбалась она скупно: выросшие чуть наружу верхние зубы как-то не поощряли ее к положительным эмоциям. За что в профилакторий? Она кратко ответила: нервы.

Я покосился в ее тетрадку — формулы, и подбодрил толстушку:

— Ничего, вычислительная механика, отдохнем, успокойсья. Бегать по утрам будем.

— Я горные лыжи люблю, — остальное время говорил я, а она несмело смеялась, прикрывая ладо-

нюю рот, а потом объявила с такой определенностью, будто я только что спросил: «Я слышал, что вы тра-та-та, правда ли это?»: — Я ведь травилась полгода назад, — и опять, словно я продолжал тупо спрашивать: — От любви, — и снова! — У него жена и дочь.

Горнолыжница с факультета ВМК закрывала улыбку ладонью, но по глазам я понимал: улыбается она вкрадчиво и пытливо. Пересесть от нее было некуда, радость моя начала сдуваться и ежиться. Горнолыжница вздохнула:

— Была бы жена одна, я бы влегкую его развела. Ведь он меня любит, — сказала она в настоящем времени; как я ненавижу таких девушек, если женюсь, изменять буду только с замужними и многодетными. — А вот когда дочь родилась, я таблеток намешала и...

— Да что ты это рассказываешь хрен знает кому? Надо вот это вот всё только тем, кому веришь.

— Я вам верю. Вы, мне кажется, никогда не обманываете, — просто сказала она, — и меня никто никогда не обманывал. Вот, а потом — истерики начались по ночам. Всё время снилось, что я с ним и нас застаёт его жена. Я ее ни разу не видела, и поэтому во сне она всегда была без лица, с серым пятном на том месте, где бывает лицо. Как увижу это пятно над собой — вскакиваю, ору и бегу к маме в кровать, а она меня гонит... Тогда бегом к папе. Папа говорит: успокойся, не бойся. Она не здесь, она далеко.

Я отвернулся, чтобы очнуться, глянуть на отрезвляющее, но тут раскрылся лифт, из него вышли лилипут, и высоченный рыжий малый в ортопедическом ошейнике, и две птицеголовые девы с узкими стопами; одна громко сказала:

— Особый блеск в глазах, свойственный эпилептикам...

Горнолыжница потащила еще меня проводить до автобуса (сто какой-то ходил от Главного Здания до Шверника), поскользнулась (получается, кончалась осень) и полетела задом на газон, отряхнулась и долго махала моему автобусу вслед, одной рукой махала, другой отбрасывала прядки со лба, чтоб не отвлекаться, побольше помахать.

В общаге не завидовали — ненавидели, и я, вдруг осознав, как устал от пьянок, почвоведок, «временно проживущего» у нас негра, подселенного за деньги заочника, хлебных корок и авоськи сала за окном — людской нестихающей плотности, с такой радостью собирался в профилакторий, словно навсегда, или — словно вернусь и всё изменится; даже не помогли поднести до трамвая тяжеленную сумку и пишмашинку «Украина» — подарок родителей: не могу забыть, как выбрасывал ее — в потертом черном футляре, как отвернулся, открыл глаза и пошел прочь от мусорного бака, а она (клавиша регистра слева западала, и я щепкой подпер), а она (руки черные от смены ленты), а она (когда писал о страданиях, пальцы провали-

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

вались меж букв и застревали), а она — осталась, ни в чем не виноватая, навсегда осталась одна там.

Невероятно: человек, который однажды закопает отца и мать, часто жалеет тетрадку со своими детскими рисунками танка с красной звездой.

Первым делом я поглотил три копны макарон, в комнате изучил, сверяясь с описью, взятое на душу имущество. Всё поразительно совпадало, если простить отсутствие чайного стакана. Это ничего, чай принесу из столовки.

На подоконник садились снегири. Куплю пакет молока и сделаю из него кормушку для пролетарской птицы.

В шкафчике предок оставил мне книжку по диамату, я прочел несколько строк, задумался: а и правда, с чего я взял, что существует белизна? — когда проснулся глубоким вечером, вышел оглядеться.

Профилакторий делился на мужское и женское крыло, посреди под сыто цыкающими ходиками сидела смертельно бледная дежурная в синем пиджаке, в коридорах подванивало чем-то медицинским, гудели лампы, однообразно ругалась уборщица, чтобы не уносили посуду, у столовой висело меню, у кабинета стоматолога — график приема; я, оглядываясь на девиц в вольных халатах, остановился напротив дежурной и спросил:

— Кому здесь дать рубль, чтобы мне в комнату принесли вазу сирени?

Дежурная ошеломленно стерла со лба волосы и полезла за очками, но, когда она усилила свое зрение, я уже листал подшивку «Советского спорта» непонятного месяца, а потом, слупив хлеб с маслом и стакан кисловатой сметаны, занял позицию в «телехолле» — так называлась комната, где желающие собирались смотреть телевизор. Я дремал, дожидаясь прогноза погоды, и прикидывал силы: кто поддержит меня в восстании за то, чтобы не смотреть кино, а переключить на «Футбольное обозрение» — мужиков мало, и все дохлые, а девушки всё подходят, вот и еще, толстая, — да это зашла горнолыжница.

Она остановилась у стены, осматривая отдыхающих. Даже во мраке я заметил, что губы ее накрашены. Еще больше пугала ее улыбка. Горнолыжница улыбалась с решительной легкостью, заметила меня и качнула животом вперед — я отвернулся и уставился в телевизор.

Но ряд стульев уже затрясся, через колени соседней она пробралась ко мне и плюхнулась рядом:

— Скукотень.

— А ты что веселая такая?

— Пойдем к тебе спать, — она сказала довольно громко, у меня заложило уши.

Стустилась душная тьма. Вокруг замерцали ожиданием глаза, и девичьи голоса звенели и журчали: «с журфака», «он с журфака», «такие только на журфаке», «откуда он, не знаешь, как зовут...» — седобородые в черных шапках (им ничего не ка-

жется смешным) тут бы заметили: всегда есть выбор, — и, конечно! — конечно, выбор был: встать горячим и гранитным комком мышц, либо остаться сидеть кучей мусора, захавшей в профилакторий подлечить энурез за шестнадцать рублей двадцать копеек, или учиться, учиться и учиться, чтобы прикрыть будущей аспирантурой оторванную в детстве мошонку. Уродливо сложившиеся человеческие представления не оставляли мне времени даже подумать — я как ошпаренный вскочил и за руку потащил горнолыжницу на выход!

Погасил свет. И она разделась догола, оставив на себе только трусы, бюстгальтер, колготки и плотную майку до колен, и, бросившись в постель, обвернула себя наглухо одеялом; я едва пристроился рядом, попытался обнять и потянулся губами к щеке, но горнолыжница вдруг отшвырнула мою руку и строго спросила:

— Опытный? Ты хоть сможешь качественно? Чтобы возбуждение было ступенчатым? Чтобы сперва наивысшая точка, а потом снижение до начального уровня, а потом вновь подъем до наивысшего, и так до пятнадцати раз?

Я-то? Я? Да про меня в общаге у кого ни спроси! Да я... Да еще бы... Конечно. Все-таки... Э-э... Короче, в общем, я... М-м... Хм-м. Я к тому времени уже видел один фильм на эту тему (не как сейчас — заходи без регистрации, а на дому, кому попало не показывали), и целовался в общаге, и, ког-

да ходили в увольнение в общагу к медичкам, — пару раз, и даже обнимался с одной целую ночь на техническом этаже в общежитии, куда поднимал лифт (и откуда она узнала про этот этаж?), только скромная очень оказалась, ничего мне не позволила, подрабатывала, кажется, на транспорте — иначе почему старшекурсники называли ее «трамвайное депо»? — и я читал даже, что надо считать фрикции и совершать вращательные движения тазом, я себе всё хорошо представлял. В целом. И, наверное, я бы, возможно, даже и...

Горнолыжница спала, одеяло мерно вздымалось на ее груди. Не знаю по какой причине, но я почувствовал облегчение: вот и посплю, мне завтра к восьми — дембелям уже отменили военную кафедру, но завтра попросили всех прийти, чтобы прощальный раз «Здравжелаю товамайор!»; я корчился, как гусеница, прижатая спичкой, пытаюсь устроиться на сон, но сталинисты, устраивавшие профилакторий, знали, как обеспечить абсолютный покой: второй на кровати не помещался никак; я и пристраивался, и изгибался, пытался катнуть горнолыжницу на бок — нет, а вот так, и — замер на краешке, вернее — повис, держась за кроватную спинку быстро устающей рукой, руки придется менять, вот ночка! Пропшла вечность, вторая, еще одна, да я уже задубел без одеяла и встал одеться, горнолыжница, словно этого и ждала, раскинулась посвободней, полностью заняв кровать, а я стоял над ней в тупом раз-

думье — что здесь делает этот человек? Да еще военная кафедра... Меркли мои победы в этой тоскливой ночи, я выглянул в коридор: дежурная спала на диване для любителей газет, но сразу же подняла голову.

Я бесшумно занял жесткое кресло в коридоре, скрываясь от дежурной за столбом, и смотрел на стену, часы: игольчатые единицы, крючки двоечек, кочерги семерок, восьмерочные пенсне, совки четверок — с таким вниманием, с каким смотришь, бывает, и уже забываешь на что; вставал побродить, согревая себя объятиями, за окнами к фонарям жалась черные озера асфальта, сквозь хрипение часов скреблась дворницкая лопата, голова кивала сама собой, словно я с птичьей дотошностью клевал следующего мимо жучка, а еще на военной кафедре требовали короткой стрижки, чтобы беспрепятственно налезал противогаз, в основном я двигал взглядом часовую стрелку, сдерживая в себе порыв встать на кресло и помочь ей рукой, ждал, когда стрелки вытнутся пропеллером — шесть утра, от нечего делать взялся бриться, вычистил зубы до крови, мылся, тыкал пальцами в уши, дышал в казенное полотенце, всё рано, но — если очень и очень медленно собираться, то пора; едва шевелясь в тесной вате невыспавшегося тела, я застегивал на себе ненужные вещи — горнолыжница, голые плечи, — когда она успела снять всё? — проснулась, улыбнулась радостно — не ожидал, потянулась за голову руками

и, выворотив следом из-под одеяла свои прелести, притворно ойкнула и перевернулась на живот, лукаво взглянув на меня:

— Приходи скорей. Буду ждать и скучать.

Поцеловал не глядя, как покойника. Как ее зовут?

Военный билет взял, студенческий взял. Проездной (кто не помнит ужаса: сегодня же первое число, а я не купил проездной!) взял.

— Закрой дверь за мной.

Встретился только спортсмен, он возвращался с пробежки и утирал шапочкой лоб, дверь пихнула меня во мрак, я побрел, проминая ледяной целлофан на лужах, Главное Здание оставалось за спиной, облитое рыжими потеками фонарного света, перепоясанное вразнобой гирляндами горящих окон — как новогодняя ель, оставленная до весны гнить; я останавливался у газетных стендов — в старину на улицах вывешивали свежие газеты, и шел — в сонный автобус, в свободные лавки утреннего метро, в блаженное покачивание, на военную кафедру, после первой пары все ломанутся в буфет, а я прилягу на стол спать, лысый майор бубнил на кафедре:

— Бактериологическое оружие — это тараканы, бактерии...

— Мыши, — подсказывали «с первой парты».

— Ну, что мыши, — насупился майор. — Если много мышей, можно сделать колбасу. Запишите в общих тетрадях.

Еще одно теплое название из далекого заспиритизма — «общая тетрадь»; я сидел, полностью поглощенный поисками источника солнечного зайчика, равномерно и бессмысленно качавшегося на стене — повторяя чье-то исполинское дыхание; когда в аудиторию сунулся майор с повязкой дежурного, отмеченный прямым попаданием родимого пятна, угодившего в скулу и разбрызгавшегося по шее и щеке, я раскрыл пошире липкие глаза и почему-то приподнялся.

— Ты? — майор уважительно присвистнул. — Дуй в профилакторий.

Я проснулся. Значит, горнолыжница все-таки не заперлась.

Приказ висел на кухне, над окошком для раздачи еды: такого-то и такую-то отчислить из профилактория за аморальное поведение, дежурная дремала, накрывшись газетой, я побарабанил пальцами по столу — она так испугалась, что начала нервно перебирать позвякивающие связки ключей.

— Я тот, что из шестисот пятой.

Ей словно жახнула молния в зад, вскочила, гадливо ухватила меня за запястье — к главврачу!

— Он улыбается! — главврач семидесяти одного года брякнула на стол очки. — Он еще улыбается. А мы с утра — плачем!

Плакала она с маленькой стеснительной медсестрой, которой я быстро подмигнул, — медсестра, перекрестившись, с усердием взялась заполнять какую-то ведомость.

— Как дошел до жизни такой? — главврач тянула к моему лицу искореженную временем ладонь: чиста. — О чем думал? Сам после операции, а ее только-только на ноги подняли. После такого психоза! Собирай вещи — и вон отсюда!

Меня конвоировали две медсестры, наблюдали, как я комкаю вещи.

— Стакана чайного не было, — ворчал я, — никакого отдыха, — и солгал медсестре, что постарше: — Мамаша, видно по вам, что добрая вы: а где та девушка?

— Это не девушка. Разве ж так можно? Так выла, так дралась, что «скорую» вызывали, связывали. Что вы за люди? Только б пить: выжрут, и опять. Выжрут, и опять. А тебе еще и баб.

Вот так незаметно прошла жизнь. И я опять превратился в человека, дремлющего в троллейбусе. И все мои знания — свет должен падать слева, нельзя есть мороженое после горячего чая, спи на правом боку, никогда не выбрасывай хлеб — устарели и отменены, и, похоронив немало людей и страшно страдав (одно запоздалое бегство из паевых инвестиционных фондов в депозиты в 2008-м чего стоит, а съем коронки алмазным диском...), мне самому странно мое признание — хуже всего я себя чувствовал вот тем осенним сумрачным утром в комнате профилактория: ослепленный каким-то кровавым туманом, я впихивал в сумку вещи, еще накануне любовно и осмысленно раскладываемые по новым местам, — как же мне было плохо, как

же я выл, захлебнувшись отчаянием, да просто —дох от тоски... Вы скажете: погибла мечта о днях роскошного одиночества и сытного покоя, райском острове довольства и наслаждений, и я скажу: да. Еще бы. Но более всего — и нестерпимо — жалел я свои кровные шестнадцать рублей и двадцать копеек — родные мои, ненаглядные деньги, утраченные навсегда. Здесь помолчим. Я отойду в детскую выключить обогреватель.

Готов. Медсестра постарше подставила мягкую ладонь, я приземлил на нее ключ от комнаты.

— Эх вы-ы... — прошептала медсестра. — Закрывать надо было.

Я нагнулся за позорными тяжестями — набитая сумка торгашеского вида и траурный короб с печатной машинкой, — разогнулся, шагнул в коридор и — застыл пораженный.

Ни одна из девушек профилактория не ушла на учебу в тот день — все они, стоило хлопнуть моей двери, нашли какую-то надобность немедленно выйти из комнат — замерев на пороге, они осторожно и как-то нехотя поглаживали халаты на груди, увлажняли кончиками языка губы, сонно потягивались и вели пальчиком по шее, вдоль какой-то особенно значимой линии, прогуливались навстречу и, встретившись взглядом, вводили глаза в сторону и вниз, закинутыми руками сжимали и подбрасывали кверху распущенные волосы, обгоняли, чуть коснувшись упругим бедром и коротко и жарко обернувшись, — о Боже! — на всех я был один!

Все остались взглянуть на мастера, героя, рабочий орган, проходческий щит метрополитена, который в первую же ночь, не откладывая и ничего не боясь, взялся исполнять то, ради чего многие и стремились попасть в профилакторий, о чем мечтали, боялись мечтать, и чего — после моего ухода — похоже, уже не будет, а если и будет что-то там жалкое такое, но, конечно же, совсем не так!

Спину мне нагрел жар вспыхнувшего солнца, я уперся головой в потолок, расправил плечи, я двинулся вперед — в тот самый божественный миг (никогда больше, чтобы настолько) я стал — настоящим мужчиной.

Я ступал мягко, как зверь (две медсестры шли по бокам, а как иначе — за ним не уследишь, мигом завернет в ближайшую комнату!), и властно взглядывал в лицо каждой — и каждая изгибалась с едва слышным стенанием в ответ, и каждая годилась (даже вон та рыжая, страшенькая и в очках), и каждая — хотела, они отрывались от своих комнатушек и шли за мной, пристраиваясь к конвою, — с полотенцами, зубными щетками, кастрюльками и расческами, открывая в шаге края ночных рубашек, босые и простоволосые, — провожали своего желанного: у разъехавшихся челюстей лифта я обернулся, медсестры вытирали глаза: девушки сомкнулись цветущей рощей — запомни нас, мы тебя ждем, мы можем встретиться тебе на твоих дорогах, — и, издав на прощание голодный и победный тигриный рык, я шагнул в лифтовое нутро и опустил под

землю, в смысле — на — на землю, и, опускаясь, улыбался, и ехал в автобусе — улыбался, ждал трамвая и — улыбался, шел по общаге и — улыбался: всё, я стал мужчиной, и этого не изменить.

Изредка (долго надо выслеживать, не выдавая свое присутствие, чтоб не спугнуть), реже, чем сурикатов и леммингов, на телепередачи приглашают писателей — писатели выглядят истощенными и нездоровыми, неопрятная всклокоченная седина, нелепые шарфы на шее и пиджаки, пошитые из половых тряпок; писатели никогда не понимают, куда их позвали, когда начинать говорить, а когда пора заткнуться, — бормочут, шлепают губами, заметно волнуясь, и писателям всегда кажется, что кто-то их слушает, — им плюют в лицо подсолнечную шелуху, им на брюки мочатся жирные скоты, в них бросают окурки, харкают на очки, мучают: «А вы кто? Как-как, еще раз», «Вы что, пишете что-то?» — с болью я всё время думаю: как не уследили родственники, зачем отпустили... По «Культуре» их показывают чаще, конечно, и кучней — там писателей сажают рядками в особый загон, похожий на кузов грузовика, а гладкий и холеный, что передачей верховодит, не приближаясь — так ему противно, — издали руководит: «Вот ты теперь скажи. Вставай, когда хочешь сказать. Херню сказал, сядь! Нет, ты пока посиди, тебе дам слово в конце, если время останется. Вот ты, как тебя звать, напомни, скажи, но — коротко! Короче! Еще! Но это же глупость!» А как-то он не уследил, и два лысых старика, сидев-

шие рядом, проговорили чуть дольше, и я зажмурился от стыда — как быстро они перешли: ах, сколько девочек меня любило, ах, сколько сотен я успел перелюбить, ах, как страдали и обижались те, на кого меня не хватило, а так я — даже с иностранками, так и я с одной немкой, даже языка не зная, я одну — даже в самолете, да, горяч я был, да, ты был горяч, но и ты был горяч, ого-го-го, да-а, ого-го как был горяч... Я выключил телевизор со страхом, словно говорили что-то страшное про меня и могли услышать дети, и поклялся: никогда. Никогда, слышишь, сейчас и постарев, в любом ничтожестве и бессилии, клянусь, не буду закрываться от смерти вот этим, не стану врать, не буду хвастать победами, подсчитывать, удлинять по лживой памяти списки, улыбаться со значением, заговаривая о молодости, кивать вслед сверстницам и тем, кто моложе: а вот с ней-то я, с ее подругой, мамой и ее двоюродной сестрой, — не стану врать, не буду врать и в свое вранье верить, не полезу, завидев смерть, в трусы, не буду писать романов, где герой из постели валится в постель, выбирая себе любую, и каждая с ним готова, не сочиню рассказов, где восемнадцатилетние красавицы отдают свою любовь нищим старикам, где всё прекрасное на свете существует лишь для того, чтобы стать нашим, никаких стюардесс, проводниц, музейных работниц, переводчиц, стилисток, студенток, секретарш, продавщиц, официанток, операционисток, вожатых, кассирш, служанок, массажисток и бесплатных проституток, по-

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

клялся я, — пусть закат мой останется безутешным, но пусть я до конца увижу всё как есть.

На лечебную физкультуру я ходил всего пару раз — на следующий после изгнания из профилактория день и перед сессией. В небольшом зале в университетской поликлинике я ожидал увидеть живые скелеты, одноглазых и безногих, но там собирались обритые громадные личности с кровоподтеками на переносицах и сбитыми костяшками на кулаках. Те, кто чувствовал себя покрепче, занимались, ухватившись за шведскую стенку, кто послабее — ложился на коврик, изредка приподнимая ногу или руку.

Я сразу лег на коврик, и через полчаса медсестра, заглянув в список, попросила:

— Терехов, да ты хоть шевельнись, чтобы я знала, что ты не умер.

Но радость моя расцветала и росла еще выше — именно в этот день наш курс приехал изнурительно побегать на стадион: после лечебных занятий я устроился на лавочке и с сонной улыбкой счастья наблюдал, как круг за кругом, круг за кругом, круг за... А теперь — ускорение! Мне было так хорошо, а всем было так плохо. Всем было еще хуже от того, что я их видел, а мне было еще лучше от того, что все видели меня.

На соседней лавочке Света перебирала свои расстрельные списки, проверяла, сличала, вписывала и вдруг обратилась ко мне:

— Можешь успеть сегодня сдать подтягивание, десять раз.

Я даже не повернулся к ней:

— Я же на лечебной...

— На лечебной ты с четырнадцатого, а подтягивались мы двенадцатого. Десять раз надо подтянуться, чтобы получить зачет.

— Светлана Михайловна, — я почувал, что волосы оживают и начинают разгибаться на моем черепе, — у меня была полостная операция, у меня свежий шов!

— Надо было двенадцатого подтянуться. Значит, не сдашь эту сессию. Или беги сейчас, вон ребята на турнике, — и заорала: — Это кто там срезает и думает, что не вижу?! Повешу! — в другую сторону: — Это что за разминка — не гнется никто! — поднялась и пошла к турникам.

Я бросился следом:

— У меня разойдется шов! Кишки выпадут! Да я и здоровым не подтягивался больше шести раз. Я не смогу десять! — обгонял и поднимал свитер — вот. — Я могу умереть.

— Сегодня последний день, — тихо и бесстрастно рассуждала сама с собою Света, — или — зачета нет, сессия не сдана.

— Светлана Михайловна, пожалейте, — бегал я вокруг, всплескивая руками. — Я вас очень прошу, ну, один-единственный, самый разьединственный разик, я просто... у-мо-ля-ю!!! — и вдруг заметив, что все бросили бегать и разминаться и — столько радостных лиц вокруг! — я вздохнул. Подошел к турнику. Примерился.

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

Подпрыгнул и повис.

И подтянулся — десять раз.

На!!! Получила?!

Света даже не подняла головы, так, мимоходом, что-то пометила в бумагах — жирной «галочкой».

...Я давно не бывал в тех местах, а в этом сентябре в три часа ночи ехал за «скорой», что везла в Морозовскую больницу маленькую дочку с женой, — три месяца не садился за руль, только прилетели с моря, ненавижу Морозовскую.

Прошелся вдоль платных боксов: имя, диагноз. Знакомых нет. Отовсюду раздавалось мяуканье детей, «тихо! не сопротивляйся врачам!», в коридор выглядывали голоногие мамы с опухшими лицами, в бесплатной палате, обхватившись руками, сам себя убаюкивал детдомовец.

Медсестра шла за мной по пятам:

— Вы останетесь ночевать?

— Это зависит от того, что у вас на завтрак.

Она искренне удивилась:

— А почему это?

Ночной дорогой меж больничных корпусов (и в каждом окне прижимала к себе младенца Богоматерь) я вышел за ворота мимо будки охраны — судя по телевизионным отблескам, в будке кто-то жил, вернее, был; не разобрался с поворотом и выехал на трамвайные пути, пришлось возвращаться по Шаболовке, а дальше, как по запаху, — путем

двадцать шестого трамвая по гнутым переулкам, машину трясло на трамвайных плитах, пока не съехал наконец на Загородное; начали попадаться влюбленные пары, одна девушка несла на плечах доисторически заброшенный пиджак; вовремя свернул на Шверника и остановился напротив общежития — не смог почему-то выйти из машины, даже прямо взглянуть защищавшими (просто за дочку переволновался) глазами, так, косился на особенные окна, где что-то (так думает каждый) все-таки осталось от меня.

Общага парусом торчала в ночи, горели десятки окон, свободные от штор, и на каждом этаже целовались влюбленные пары, кому не повезло опуститься на свободные кровати работающих в ночь соседей.

Я почувствовал острейшую, обжигающую зависть.

Я твердо знал, что самое важное и лучшее на свете происходит сейчас за этими неспящими окнами. Конечно, это глупость и заблуждение, я получил всё, о чем мечтал и не мечтал. Но московская прописка и квартира в собственности ничего не могли изменить — мне невероятно сильно хотелось вон туда.

Идут годы, старшая дочь моя Алисс поступила в университет, где готовят будущих официанток со знанием испанского и каталонского языков, и бывают дни, когда после занятий Алисс дожидается старик отец, и тогда почтенная и величавая ста-

рость прогуливается об руку с наивностью первоцветения юности, и так уморительны, так смешны мне жалобы Алисс на физкультуру:

— Почему ты всё время смеешься? Ты не представляешь, как она непонятно объясняет: бежишь до штрафной, пас до диагонали, она возвращает, в кольцо, она снимает, спиной назад, пас, забивает, полный круг — поехали! Я не понимаю ни слова...

— Милая моя девочка, какая же ты у меня еще маленькая...

— А знаешь, как ругается? Говорит: сейчас как врежу! Китайцу сказала: ты что, мало каши рисовой ел? Прекрати немедленно смеяться!

— Ох, не могу, ты просто еще не знаешь, каких действительно страшных испытаний может быть полна жизнь, какие страдания выпали твоему отцу...

— И с бретельками не разрешает. Это, говорит, не спортивная форма! Чуть что: закрой рот. Мне всё время кричит: подаешь безобразно, ноги не сгибаешь, больше не возьму в первый состав, — а как подам хорошо и все мне хлопают — упорно смотрит в журнал.

Глаза Алисс пылают возмущением, а я отворачиваюсь и прикусываю губу, чтобы не расхохотаться в голос: дети...

— Говорю ей: Светлана Михайловна...

— Надо же, Светлана Михайловна. И мою так звали — вот забавное совпадение. Моей, должно быть, лет девяносто, навряд ли жива...

— Сказала, что двадцать лет отработала на жур-
факе.

Я остановился, вернее — у меня отнялись обе
ноги и язык, здания и деревья сдвинулись и по-
плыли вокруг, а я не мог шелохнуться, чуя стреми-
тельное падение температуры тела и примерзание
языка к зубам:

— Ты, надеюсь, о, ради всех святых, Алисс, ты не...

— Я говорю: мой папа там учился.

— О боже!!! Ты ведь не называла фамилии?!

— Сказала. Она так пожала плечами: смутно
помню.

— И она... Где-то рядом?!

— Ну, может, выйдет сейчас. Может, нет.

Я оглянулся: до Вернадки бежать далеко, и ме-
стность открытая — крикнет в спину; Ломоносов-
ский скрывает забор, прутья частые, не протис-
нись, даже если разуться и куртку скинуть; залезть
под строительный вагончик и лечь мордой в снег? —
но тут крутятся собаки, начнут лаять или подлезут
понюхать или лизнуть; прыгнуть в траншею тепло-
трассы и пробежать по трубам? — да там глубина
три метра — я не вылезу, времени нет. Я перебежал
дорогу и присел за машину, запорошенную снегом:
ладно, ладно, отобьемся; Алисс пришла за мной
следом, у нее были испуганные глаза:

— Папа, что с тобой?

— Зачем было говорить про меня?! Сказала
бы — сирота! Да сядь и не высывайся! Тихо!

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной

— Она же сказала, что смутно помнит...

— Света тебе еще и не то скажет! Знаю я все эти подходы... Ха! Но тут ей ничего не обломится, — я зачерпнул горстку снега и бросил в рот, вода есть, не пропадем.

— Прошло столько лет... Что она тебе может сделать?

— Светлана Михайловна может всё! Скажет: чего пузо наел? Даю месяц, чтобы десять кило сбросить. Чего сутулый? Небось не плаваешь и спина болит? А когда мне плавать? Карта в клуб есть, но, кажется, просроченная. А Света обязательно проверит! Никогда больше не подойду к «Университету», никогда больше не поеду по красной ветке! Во попал...

— Бедный папа, — Алисс с тревогой наклонилась ко мне и погладила мои волосы, — всё уже кончилось, всё уже прошло, ничего этого больше не будет...

— Нет! Будет! Ничего не кончается. Плавать я буду. Хотя бы на море — до буйков и назад. Велотренажер можно купить. Жрать поменьше... Я видел в интернете — шесть минут в день, и кубики накачать можно. Никаких тренажеров, только диван. Свете меня не взять! Тихо. Кажется, идет, — и мы замерли, склонившись головами друг к другу.

Цифры

Я ткнул кнопку-пуговицу на стене ювелирного магазина на Солянке, сказал незримой, сиплой и всевидящей «охране», куда я, и потопал по крутой лестнице вверх под крышу, огибая азиатов, стоявших очередь в «фотографию», разместившуюся в нише размером с обувную коробку.

За стойкой сидели две девушки. Мне уже пора таких дам называть девушками.

Одна — такая бледная, словно ее за ногу приковали цепью к отопительной батарее и не выпускают на улицу за долги. Вторая как-то переборщила с выщипыванием бровей — каждая ее бровь изгибалась дважды.

Я вынул из боевого товарища, из своего верного «е-девяносто» цвета «мокрый асфальт», треснувшего от встречи с сухим бетонным полом, сим-карту и опустил инвалида девушкам под нос — между одноразовых стаканов с кофе и долек шоколада, расчлененных на фольге.

— Ну, оставляйте. Ну, через неделю... А чо, мы разве такие берем?

— Я же звонил! Час назад! Вы же сказали: запчасти в наличии! Диагностика — пятнадцать минут! Ремонт — в присутствии клиента!!!

Как всегда. Звонишь в одно место, приезжаешь в другое.

Бледная вздохнула, нехотя поднялась и унесла инвалида за медсанбатовскую ширму, «Тимур, ну посмотри...», вторая заполнила квитанцию: «трещ. корпуса, не раб. монитор».

— Фамилия. И контактный телефон.

Рука нелепо, сама по себе дернулась вернуть из кармана сим-карту. Какой-нибудь номер.

Какой?

Она взглянула на мой правый безымянный, откуда пускает безнадежные лучи поцарапанный золотой маяк, «черный ящик» сбитого свободно летательного аппарата: «Может быть, телефон жены?». Не знаю наизусть. На 09 кончается. Или на 089. Что на 9 — точно. «Или домашний?» Я бодро начал: 8499, с более-менее устойчивой 7 спустил ногу дальше, но следующие ступеньки не просто тонули во тьме... Их

не существовало. «Хорошо, ну хоть чей-то номер!» Я почувал, как здесь жарко. Ничей. Всё, что помнил, — бывший домашний и телефон тетки в Белгородской области с кодом города, вместо 0 надо 4. «Может быть, номер своего мобильного?» Его-то помню. Но плохо помню. Путаю последние четыре цифры. Путаю между неправильным и тоже неправильным. Уже дал два газетных объявления с двумя по-разному неправильными номерами. Идиот.

Я растерянно молчал.

Девушка посоветовала:

— Глицинчику попейте. Для нервов. Я тоже пью. Чтоб не переживать, что резко вес набрала. После гормонального сбоя, — она показала свою беду: просунула ладони под огромные груди и трижды с усилием приподняла их и опустила, глядя мне прямо в глаза, — во какие стали.

Погуляйте. Двадцать минут. Я спустился на Солянку и свернул в первую же дверь направо за магазином «Модные иконы», в «Шашлычную» — в ней работали южные и восточные, такие мрачные, что мне показалось: общепит здесь — только прикрытие для школы шахидов. «Выбрали?» Да. Шашлык из бараньих языков.

Я смотрел за стеклянную дверь. За стеклом спешили, уворачиваясь друг от друга, блондинки, брюнетки, милицейские курсанты и офицеры МЧС в полушубках. Там задувал снежный ветер. В шашлычную никто не заходил. Кроме высокой раздра-

женной женщины «на три с минусом», удушенной шарфом. Она брезгливо покосилась на витрину с десертами и широкими, злыми шагами прошла прямо в туалет.

Возле туалета стояла, прижав к голове мобильник, черная печальная женщина в сиреневом фартуке, устало опустив голову к табличке «оператор по уборке», прицепленной на груди как пояснение преступления. Она что-то непонятно и беспрерывно говорила в телефон на своем языке, вдруг выронив посреди на чистом русском:

— ...Внутренне дискомфортная ситуация... — словно лопнула земля, и обнажилось дымящееся, раскаленное нутро.

Так странно, оказывается, без телефона. Пустым. Первый раз за столько лет. Без увесистого присутствия в кармане. Без первой же заботы: где он? Взял? Посмотреть, кто звонил? Есть сообщения? Сколько время? Как я пойму, прошло или нет двадцать минут? Так непривычна недосыгаемость для звонков и сообщений. Неожидание (а по правде — безмозглое ожидание: теперь-то откуда?!). Ничто не лежит поближе к правой руке, надежным присутствием домашнего животного, осмысленного тепла, лодочкой. Сиреневый всегда обнадеживающий свет пришедшего сообщения — вот он, конвертик. Всегда раздражающий звонок: ты не один.

Я не мог отправиться в инет. Сфотографировать и выслать кому-то свою внешность на фоне барной

стойки, над которой стеклянными плодами висели перевернутые фужеры. Позвонить: я там-то, жду. Меня закрыли. Я сумасшедший. Некуда записать телефон, если «на три с минусом» выйдет из туалета, присядет за соседний столик и мы познакомимся. Ну что я продиктую, какой «мой номер»?!

Вот это да. Как, выходит, глубоко вросла железная эта... Доля мозга. Часть души. Часть всего. И эту важнейшую часть отрезали.

Я не знал, что делать. Думать? Полистал рекламную газету, но застрял на стихотворной строке с первой предпраздничной полосы — «России красный триколор...». Повторял: «России красный триколор... России красный триколор». Да нет, меня не существует.

Ваш шашлычок, три язычка. Я согнулся над тарелкой, совестясь смотреть в глаза баранам-диссидентам с вырванными языками, укоряюще вставшими передо мной.

Как же так! Хотя бы один номер. Так ведь и «скорая» с мобильного не 03, как-то иначе. А если я по итогам сложной дорожной обстановки и собственного скудоумия лягу на окровавленном асфальте у перевернутой, дымящейся машины? Что я прохриплю подбегающим, взволнованным людям? Звякнуть по какому номеру? Кому передать последние нелепости? Не скажешь же: возьмите мой мобильник, снимите блокировку, найдите в «меню» «контакты» — глупо как-то. Хотя еще глупей ве-

рить, что кто-то должен спасать — подбегать, кричать, дорожить мгновениями, что завоюет скорая на уступаемой всеми дороге, забьет лопастями санитарная авиация, загодя развернут лучшую операционную люди в масках и лучший хирург, поднятый из-за юбилейного или свадебного стола (еще лучше — поднятый среди ночи!), полетит по улицам (иногда — на красный!), а вот и пристроился впереди всепонимающий гаишник — цито!

Жизнь каждого! Позорное наследие советского детства! Что жизнь — незыблема, что человек — нужен, что — что бы ни случилось! — ты очнешься, увидишь удивительные синие глаза, вздрогнет от неожиданности медсестра, крики в коридоре: радость-то какая! пришел в себя! — и останется лишь задать вопрос: какое сегодня число? — чтобы скорей понять, сколько тебя не было, что успели сделать без тебя на укладке бетона в плотину, поторопиться вернуться к победам — какая, на хрен, реклама страховой компании это может заменить?!

Кому нужна вся твоя жизнь? Да кто тебя должен спасать? Ты сам кого-нибудь спасал, терпя, через силу, за свои средства? Нет? Так что, если не повезет, — или рассовывай по карманам ближних деньги, или ложись и тихо подымай, косясь на бумажную иконку.

Даже дозировка, по сколько и когда глотать, отгораживаясь от гриппа, — и та в мобильнике, в «черновиках»!

А сколько буханка черного? Рублей двадцать? А бензин? Плачу за бак больше тыщи, делим на емкость бака... А какая емкость бака? Бесполезно.

Не помню. Ничего. День свадьбы? Нет. Первую зарплату? То же самое. Не помню, сколько троек в дипломе, вес новорожденных — нормальный какой-то вес. Только взятки — кому и сколько. На сколько договаривались. И сколько пришлось платить.

Возможно, цифры хранят только нужное, то, что нужно по-настоящему. То есть главное. То есть почти ничего.

Я прислушался. Всмотрелся. Ощупал. Телевизора нет, не положишь щеку на подушку. А, вон оно что случилось — я попал в самого себя. И огляделся после длительного отсутствия. Как-то пусто-ва-то здесь. Да и не скажешь, что простор. Ну-ка... Да нет, и эти ходы никуда не ведут. Вот только это, это и всё. И мало следов пребывания. Не скажешь, что обжитое место. Давно поклеенные обои и немного мусора посреди. Съестным не пахнет. Мыслей нет. Не то что лишних, а... Жизнь как-то выстроилась, что нет поводов думать и запоминать. Пропали цифры. Но ведь были.

Я (нет здесь паутины?) двинулся в угол, туда, где прыщавое первоначальное время, где инет назывался Большой советской энциклопедией и я помнил группу крови, номера десяти в/ч, номер паспорта, номер военного билета (любимое многоча-

совое чтение, глубочайшая, неоднозначная книга!), три почтовых индекса и один подъездный код — уедут же ее родители когда-нибудь на дачу. Невыносимо глупо иметь дачу и не выезжать на каждые выходные!!!

Первый гонорар (6 р. 40 коп., приходили такие бумажные жизнерадостные квитки с хорошо различимой чернильной цифрой), футбольные счета (греки с нашими, 1-0, последние в жизни не кладбищенские слезы), расписания телепрограмм (21:45, кино «по четвертому», где посреди польской исторической драмы можно было увидеть голую женщину в бане), мороженое (по шесть, девять, пятнадцать, восемнадцать и двадцать две!), стакан семечек с железного подноса у горбатого деда (десять, это он потом поднял до пятнадцати!), мяч «кубышками» (ну, самый минимум — двадцать два рубля!) и номера телефонов — людей и мест, еще как! — я их знал!

Эти телефоны-автоматы... Они располагались либо под пластмассовыми скорлупками на салатных стенах учреждений, исписанных и исцарапанных диктуемыми номерами, либо в уличных будках, спасающих от дождя; встретить посреди ночной, панельной, страшной пустыни эту заледневшую будку, поднять трубку и услышать густой, громкий гудок, подтверждающий силу цивилизации и общую надежность жизнеустройства — заботятся о тебе...

Они (толстые, серые, с металлическими пластинками на брюхе с выгравированной «информацией», провод обмотан стальной проволокой) кормились двумя копейками — «двушкой» или «одна плюс одна», поиск «двушек» стоил порой немалых трудов и требовал удачливости, и в трагический момент, когда мольбой обретенная у единственного прохожего «двушка» проваливалась, а нужный, даже еще не опознанный, голос обрывали частые воспаленные гудки, аппарат получал страшный и бесполезный удар кулаком. В более ранний период, когда еще жили мамонты, в уличных телефонах встречались обнадеживающие пещерки для возврата денег, и первым делом палец проктологически отправлялся туда, и приятные неожиданности случались!

Если номер оказывался занят или равнодушные твари цедили «перезвоните позже», приходилось откатываться волной и совершать акульки нетерпеливые движения по кругу, и сколько раз я победно вешал трубку на рычаг: да. Да! И сколько раз распахивал дверь автомата и выходил на свет, пряча от очереди (к телефонам еще и очереди нарастали...) потную, раздавленную морду: нет. Нет.

Но (вдруг заметил) — началось не с цифр. Первыми пропали птицы. Лет двадцать не видел снегирей. Может, живут только в лесу, экология? Не, точно помню: прыгали по изрубленной мясничкой колоде у подъезда родной хрущевки в двенадцати кэмэ от крупнейшего химкомбината Европы. И синиц не

видно. Синицы, желтая грудь, криво прилипавшие к подоконникам поближе к ломтикам сала, — точно были. И сороки. Хотя реже. Да где теперь они?!

Ни разу не видел аистов, жаворонков, соловьев, зябликов, куликов, журавлей, малиновок, клестов, стрижей, дроздов, цапель, каких-нибудь удонов, да и чижей! И голосов не слышал. Какая птица как поет? Ведь каждая птица как-то по-своему поет, так? Да, еще исчезли деревья. Клен, липа, дуб, тополь, береза, елка пока тут. Но осина? Ясень? Пихта, кедр или платан? Ольха, ракета? И мн. др.? И это уже не нужно для выживания? Достигнув трех лет, барышня Екатерина дала мне понять, что я не знаю цветов. Растений. Ноль. Розу, ромашку знаю. Ну, а всё многомиллионное остальное? Какая-то трава с цветами. Может, есть уже японский определитель с кнопкой?

Пропали насекомые. Так называемые жуки. Кто из них клещ? Камни. Они ведь разные бывают. Сердолик там. Агат. Пропали цвета. Багряный. Цвет морской волны. Какой это — бирюзовый? Что за рдяной? А свинцовый? Охра? Воронового крыла? Незачем! Пропали запахи. Вкусы. И, бессмысленно набычившись, стоишь посреди Египта в окружении неизвестных птиц, и ветер сносит как бы розовые лепестки с чьих-то веток.

Вот, проследив цепочку, — за цифрами следом спрячутся, перестанут жить, снимутся и откочуют в ночь книги: настоящие уже ушли, редко встреча-

лись, долго ждали и сперва пересказывались в песочницах и вечерних беседках, а только потом на день или три их вручали почитать — коричневые, ветхие, немые обложки, затертые до потери автора и названия, начало — огрызком семнадцатой страницы. Обугленные, осыпающиеся лохмотьями, их корешки скрепляли полоски синего дерматина — я помню эти книги наизусть, в том смысле, что помню главное. Их не выпускали из рук до последней страницы, в них главенствовали люди, пожизненно затвердевшие в своей доброте, в них побеждали герои и скромные красавицы до гроба ждали любимых, нет выше счастья: я читаю это впервые — молодой гасконец едет в Париж, впереди — всё, включая жизнь.

Я поднял свои щупальца и потрогал головную часть, покрытую волосяным покровом: через что утекло это вот всё?

Хотя чего жалеть? Ненужное отмирает, хлам, всюду кнопки. Позвоночных в ходе эволюции вытеснили кнопочные. Надо знать, куда нажимать, всё остальное — выбросилось. И иметь копейки, чтоб оплачивать напряжение в сети. Главный вопрос «Международной панорамы»: куда нажимать?

«Знаете, куда нажимать?» — так спрашивают, когда просят запечатлеть, как мы улыбаемся, прыгаем, любим друг друга, — поработать ангелом.

Не ввали, вот и коммунизм — каждый на пособие может узнать всё что хочет; увидеть на изобра-

жениях высокого качества всё что хочет; на очереди «почувствовать» — это скоро доработают: наденешь обруч на башку, ляжешь в своем отсеке в улье и почувствуй себя кем хочешь. И особенно — с кем.

Новые очертания, выходит, теперь у людей. Кнопки высвободили время от идиотизма труда, которое оказалось как-то нечем занять, «каждый» наконец-то откололся от «каждого», поплыл островом, но — необитаемым. Зачем теперь идеалы (кнопки есть!), добрые поступки, правда какая-то, общественные переживания, тепло, холод и написание зла с большой буквы — ничего не делай, из тебя и так вычтут подходящий, и всё как-то там устроится вообще как бы типа само. От тебя требуется лишь отдельно выбрасывать мусор (слушай, изучи правила утилизации аккумуляторов и градусников!), и подбирать в пакет дерьмо четвероногих питомцев, и помнить ИНН — но я-то не делаю даже этого!

Что получается: если не будет атомной бомбардировки, рукопашных в очередях за хлебушком и погрузок в не хватающие на всех спасательные шлюпки, так и проживешь, не познакомившись с самим собой — кто ты был? А может, и хорошо. А то бы жрали человеческое мясо.

Я расплатился, прошел три шага и только потом понял: я шагаю, иду. Словно куда-то отходил и вернулся в тело — запрыгнул на ходу. Без цифр и такого же, никем.

Но вот только ночью... Когда человек засыпает, перестает понимать «лежу» и чувствовать одеяло. Когда наступает ночь и все великие люди расходятся по спальням и спят, как жалкие дети, разомкнув губы, превратившись в холмики золы, смятые, сметенные дворниками курганчики листьев, из которых торчат руки, — вслушиваясь, ослепленно, подводно, робко... Когда Бог поднимает крыши и смотрит на своих. Когда Бог разрывает землю и смотрит на своих. Все спят. Все на месте — все спят. Все здесь. Никого нет на небе. Ночью я обнаружил, что — нет, еще не готов, не пуст, еще не совсем стерся, остались невыбритые куски, из чего-то незабываемого еще можно составить мое личное имя — старики первые, я хорошо помню про стариков, уверенно вспоминаю, почти всегда, их, то есть — потом себя, обряженного в обвислую кожу, — вот не останется будущего, станет очень маленьким слово «надеюсь» — старики сидят у телевизора, прежде всего помня, когда принесут пенсию, крадутся краешками тротуаров и громко смеются только за доминошными столами, старательно улыбаются внукам, примеряя клоунские маски: клоуны не устают, им не больно, им не страшно. Им ничего не надо, лишь бы поржали. Можете шлепнуть по лбу и оттаскать за уши. Никто не видит, как они смотрят на ваши спящие лица, как вздыхают, прежде чем лечь, — и что думают они? Скорее всего, стараются вовсе не думать: когда

свободная воля в исполнении желаний ограничится «я подумал», а затем, примерно наказанная, утишится до «я вспомнил», знаешь, о чем? — потом некому будет рассказать, и останется вспоминать — одно и то же, одно и то же, не рассказывая, просто смотря на свое внезапное «я вспомнил», как на бессмысленный блик света. Который бросает солнце. Которого не разглядишь.

Еще почему-то всегда помнишь вещи. Замечаешь, как смотрят. У дивана есть глаза. У старого свитера — свой характер. Такая игра начинается, будто вещи забирают, впитывают твои лучшие дни, понадежней, чем память, и, когда выбрасываешь вещи, — выбрасываешь лучшие дни, вот это «а помнишь?!» — вещи-то помнят, они несомненная часть того, что «было». То есть они и есть это «было», потому что другого уже ничего не осталось. Разбитые и повывавшие виды кроссовки по-особому взглядывают на тебя, когда прикидываешь: выбросить сегодня? И когда уходишь от мусорного бака, всё равно слышишь голос: подумай, ведь почти целые, пригодимся, хоть на стройке.

Ну, какая у меня может быть стройка?!

И когда я с ужасом лишнего, невъехавшего думаю о завтрашнем электронном рае, в котором у каждого из башки будет торчать по три разноцветных проводка, — только диван и чашка внушают мне надежды. Мне кажется, без дивана «они» «там» не обойдутся. У хлеба, для сравнения, шансов по-

меньше. А вот чашка — ну, полое одностороннее ограниченное цилиндрическое приспособление для потребления жидкости с держателем для пальцев — должна остаться.

Еще — кнопкой не отключить бывших людей, длящуюся пространную жизнь умерших; как мощно продолжается она, благородно обезличась, — его вещи, оплаченные им квитанции, жизнь в памяти случайных знакомых — а был такой; тратятся его деньги, еще послужат сделанные им покупки, аукнутся упущенные им выгоды, бомж не нарадуется его ботинкам, его машина возит молодых, он снится и что-то говорит жене, ему уже всё равно, а его неисполненное обещание еще кого-то ранит — кончившаяся жизнь расходится в стороны волнами, толчками, колебаниями и, смешиваясь с такими же волнами, толчками, колебаниями, смыкается в вечную зыбь, что качает дома по ночам, качает колыбели и землю.

И еще — дети. Мир — эти обглоданные корки, обертки, фантики, ценники, посылочные ящики, доски и слизь — он такой, «ничего не надо менять» написано на нем, пусть, но вот только дети... Всегда мешают дети. Особенно их слезы. Когда видишь детей, особенно плачущих детей, когда посреди аэропорта худенькое существо, наклонившись, коротко и расчетливо ударяет — раз! — разок! — крысиной лапкой по лицу своего капризничаящего ребенка, — кажется: надо что-то изме-

нить. Надо быстро что-то изменить. Вот ты — должен. Детей кто-то присылает за долгами.

Я поднялся и отправился в детскую. Барышня спала, белела во тьме, как буква. Она как ручеек. Любовь может пропасть. А барышня не может пропасть, она будет. Меня уже почти нет, а она — есть. И я еще тоже побуду.

Настало утро. И я решил расширить пределы своей неповторимой личности.

— Я люблю футбол, — сообщил я жене, — но почему-то, когда я собираюсь посмотреть Лигу чемпионов — всего-то несколько раз в году! — у нас всегда что-то происходит... Давай будем повнимательней друг к другу! Давай будем помнить друг о друге побольше, ладно? И проявлять заботу! Так вот — 8 декабря я — смотрю — Лигу чемпионов! Заранее предупреждаю — 8 декабря, что бы ни случилось, что бы там ни стряслось, — я смотрю Лигу чемпионов, запомнила? 8 декабря!

Жена спросила:

— В мой день рождения?

Миллионы

Шкр-ов, человек, очнулся, услышав по-вдовьи печальный голос: «...Волоконовка, четвертой платформы, восьмого пути», и покатил сумку, обросшую аэропортовскими багажными липучками, мимо кассовых очередей, где выделялись женщины в похоронных косынках, от всех ожидавшие почему-то особого отношения, — морщился, и щерился, и осуждающе качал головой: не ездил сто лет, и чтоб еще — а ну вас на хрен — лучше нанять, и по трассе «Дон» (с холодильником, и повышенной вместимости, и музыку врубить): грязь, помойка, не туалет, а параша, еще и за деньги?! Как сюда пускают бом-

жей?! Как вот все вот эти вот могут вот здесь жрать, и жрать то, что они жрут; даже воздух, тут даже дышать... а, всё как всегда и повсюду! Любой, кто одет почище, особо — беловолосые девки с загорелыми бедрами, поймите, как случаен Шкр-ов здесь, вынужден — нестерпимо! Над платформой летали мыльные пузыри, и мрачные люди предлагали наборы инструментов за полцены, отъезжающие докуривали, и — окурки под стальные колеса: происходило безболезненное железнодорожное расставание. Подали волоконовский задом наперед, запалив гражданскую войну на платформе: все, кто стояли «в голове состава», двинулись «в хвост», те, кто караулил последние вагоны, — побежали навстречу: друг против друга.

Проводнице, грузной, со словно сросшимися грудями, жидковолосой, с обугленными тушью веками и гримасой скорбного безразличия, закрепленной косметикой, Шкр-ов брезгливо сказал: даже «СВ» у вас нет; она ответила в сторону: у нас в купе ездить некому, занимайте любое, часика через пол можно будет попить чайку.

В вагоне узнаваемо пахло гарью, в туалетной двери сквозила высокая щель, удобная для определения «занято» или «свободно»; вагон прибыл из прошлого Шкр-ова, выходит, там, в прошлом, что-то еще от Шкр-ова осталось. Пни от яблонь, нависавших над его детством. Его еще теплые следы и соседские воспоминания о воспоминаниях. Шкр-ов

глянул в оставленную в купе русско-украинскую макулатуру: «Секрети догляду за бджолами и квітами», в заголовке вместо «благоухания сада» прочел «благоухание сала». Прилетела муха, деликатно кружила и приземлялась, указывая Шкр-ову, куда ему еще себя шлепнуть, да побольней, — всё как-то становилось хуже, а он подорвался ехать, чтобы достигать — предъявить волоконовским что-то типа «ну, поняли, кто я?» — так туда и надо гнуть, хуже нет (про себя Шкр-ов часто так говорил, ему бы слушателей с пониманием, вот в Волоконовке племянники...), когда у кого-то что-то по жизни не так — а они вот так вот руки на коленочки и сидят чего-то, ждут, трут чего-то, ноют... А надо просто: подняться, пойти и дать денег — по-любому! Он даже и с матерью так: только чувствовал, что она собирается вот это вот гнилое: сынок, найди для меня минутку, можешь меня послушать, долго я готовилась к этому разговору, ночами подбирала слова, болит душа за тебя, — мать еще не начала, а он уже — хоп! — давал денег! — и она запиналась, благодарила и отступала, и подготовленное ею неведомое неприятное как бы переставало существовать. Он переложил мелочь в карман и отправился обозначиться проводнице:

Я сам с Волоконовки, она не удивилась (просто не знает, сколько стоят его часы, да она столько за год не ...!), жили на Ворошилова, там, где магазин «У Лысака», — проводница не откликнулась на па-

роль, хотя только очень-очень свой знал, что деревянная будка на два входа, снесенная двадцать лет назад, называлась «У Лысака», хотя сам Лысак ушел с немцами и много позже потом засылал проведать улицу немку-жену, и кто-то с ней говорил, а бабка Шкр-ова даже не вышла из хаты, не простя: по доносу Лысака расстреляли Андрея Калашникова; сам давно в Москве, мотаюсь по миру, родня — Курепины — осталась на Зацепе и на Казацкой, где детская стоматология. Проводница не знала Курепиных, равнодушно смотрела, как в плацкарту заселялись, шаркая тапками, наработавшиеся, пустоглазые хохлы — лопоухие, одинаково минимально подстриженные, с редким чубчиком, разделенным на острые прядки, похожие на расчесочные зубья, они ходили строем, молчали, всё время что-то пили, в них чувствовалась не угроза, а — ничто. Масса. Лавина, которой безразлично, куда сойти.

— Думаю, дай построюсь на родине, — он говорил с неестественной выразительностью, подкатывая глаза к небу; проводница, скорее всего, думает, что Шкр-ов пьян, — купил участок. На Интернациональной. У Ткаченко, инвалида, что мясо коптил.

— А жена его амурской горбушей торговала в поездах, — припомнила проводница и крикнула подруге, охранявшей соседний вагон: — Не зевай, не соблазняй на сон! — и взгляделась наконец в Шкр-ова. — Так там вроде тридцать соток. Участок, конечно, чудо... Черешни, абрикос. Таких в го-

роде больше и не осталось. Да там и домишко был неплохой из шлакоблоков, газ; подделать и жить, или жильцов пускать. Не брешут — три миллиона отдали?

— Ну, — Шкр-ов обрадованно кивнул, теряя управление над собой, соврал: — Побольше...

— А я всё ахала: та-ак дорого... Думаю: а потому что с домом. А утром иду на работу — дома того нет. За ночь снесли и самосвалами вывезли. Сказали: москвич купил, место ему так понравилось, самое центровое, нужен ему тот домишко... По телефону руководит, — проводница почему-то говорила будто не о Шкр-ове, а о другом, подлинном владельце участка на Интернациональной, не присутствующем здесь, возле волоконовского пятьдесят девятого, скорого, не замечая его самодовольной радости, засверкавшей заметности и доброты: спрашивайте, что интересно, отвечу: обалдеть, да? — а вдруг вместе купались на дамбе, тыкали щетки в один зубной порошок и ночью слушали в транзисторах хриплых «эмигрантов» на попиленных дубках под забором баптистов Орищенко-вых? — он приглашал:

— В немецком стиле построю, под черепицей, четыреста квадратов, природный камень вот так по цоколю, камин...

— У нас просто строят: так — кухонька, так — спальня... Чего ж, если вот это есть, — проводница похлопала на боку воображаемый кошелек, —

чего ж не построить... — не понимала она, да как и все, что возможности не приходят вот так вот сами, побегать пришлось, посидеть на «булка хлеба и чай», он может ей растолковать:

— А потому, что вовремя спрыгнул с этой темы, с Волоконовки свалил, а то и посейчас бы кружил, — он рассмеялся и передразнил первоначальные свои, оставленные в Волоконовке страдания: — На сахаре подскочил — на семечке потерял. На масле поднялся — на винограде упал. Умывался тем виноградом! Ногами давил! — покивал: «да, да, вот так и было! — а ведь не скажешь по мне?» — Где бы, что бы я, кем бы я — если б остался?! Сейчас разве б смог? Где те мои дружки, что остались? Вон Олег Махортов — хотел высоко подняться...

— А теперь с цыганами проволоку собирает, — подсказала проводница.

— А помню, заходишь: у него деньги — мешками лежали! А Худолий Витя?

— Сожгли в хате вместе с матерью.

— А Шкарпеткин?

— Потонул в Осколе вместе со своим джипом. Говорят — сам.

— Сам! — едко посмеялся Шкр-ов. — И руки себе связал — сам! И Леху Безземельного утопили: когда всплыл — вот так вот в руке! — держал ключи от машины и от дома. Он им всё предлагал, лишь бы жить оставили! А Костя, я не знаю, как

его фамилия, по-уличному — Костя Крашенный, высокое у него в Волоконовке достижение?

— Встречаю по выходным на базаре: ездит на коляске с моторчиком.

— И речь не восстановилась? А всего-то — менты разок допросили! Не знаю только, как там Аладин, что с оптовкой под мостом мутил, — барахтается?

— Похоронили. В ноябре будет два года, — с неодобрением: как такое не знать? — Застрелили.

— Ни хрена себе. За что?

Проводница пожала плечами «не знаю», но пояснила:

— Что-то с лесом. Зять его попросил с фермером с Новоездоцкой разобраться — что-то с лесом. А фермер как-то устал от всего этого. Те только калитку открыли, он, — проводница прицелилась, закрыв глаз, и нажала, — Аладину дробина в сердце, а зять в штаны наложил, — и хмыкнула — в Волоконовке, видимо, эту подробность любили пересказывать.

— И такая ж моя была судьба! — Шкр-ов трижды ощупывающися перекрестил себя. — Не вырвался бы, самое лучшее — тренькал на гитаре, как Женя Михайленко по кабакам... Чо он там, всё по свадьбам?

— И по свадьбам. Куда позовут.

— Жалко пацанов, — гримасой он дал понять, что нельзя их винить, не каждому дано, — всех с тобой перебрали, — с какого перепуга он зарядил

«ты»? — до отправления десять минут, пассажиры подтягивались уже, по-быстрому шевеля ногами. — Был такой еще Геша на Сортировке, боксер, что сидел. Дразнили Сахарком.

— Да не сидел он — брехал! Это он через сестру породнился с каким-то воронежским бандюком...

— И?

— Бандюк — так и в Воронеже, генеральный директор торгового комплекса «Злато-серебро», я не знаю: хозяин, не хозяин, но, говорят, ходит в костюме. А Геша сахзавод у ростовчан выкупил с каким-то московским судьей, универмаг тоже его... Маслозавод — семечку давит, но это уже давно. Квартал за клубом железнодорожников — всё, что было, поносил на ухнарь. Говорят, дома будет строить. — Достаточно! Остановись! Нет, проводница продолжала, мимо ее глаз маршировал какой-то смотр, и она докладывала, кто поравнялся с трибуной: — Больничка, где алкашей... Кинотеатр... Кафе чи ресторан, во то что «У кринички»... Знали такое? «Армагидон» называется. Птицефабрика... Но не один, с дочкой губернатора... Вкладывает. А чего не вкладывать, когда... — она опять хлопала бок.

— Да ты что? — Шкр-ов неприязненно ухмылялся: ему-то, человеку из Москвы, бесполезно втирать, он-то знает все эти волоконовские понты, это всё только кажется, на самом-то деле всё-всё-всё там по-другому, мало ли кто что про себя, ру-

лят там совсем другие... Чуть только уступил, сдаваясь, поднял указательный палец: — Один человек такой, верно?

— Да, такой один. Геша. Да еще Тарасенков. Знали такого?

— Было время: каждый пирожок пополам делили.

— Только Тарасенков покруче. Сыну «порш» какой-то взял необыкновенный, в Германии с выставки забрал, в единственном числе такой... Там еще все удивлялись, что за Волоконовка такая?! Дочь на белом «хаммере» ездит...

— Так на контрабанде же поднялись! — у Шкурова от огорчения и обиды за Россию вдруг защипало в глазах с такой силой, словно это не он тырил из вагонов фляги с растительным маслом и выкупил у колхоза «Рассветы Ильича» новый «Беларусь» по цене металлолома, не он пилил субсидии на горюче-смазочные... И те шкурки нутрии... И якобы отборные семена якобы английской пшеницы... — С Украины десять тарелок не провезешь!

— А им — «зеленая улица». Гонят по проселочным по сорок фур каждую ночь... Провожающие, все вышли?

— Но разве это жизнь? Это — вечная кабала! Тягают и попадают.

— И опять тягают. И прут на Москву, — заключила проводница, — а Москва всё сожрет. Так, заходим. Мужчина, не маячьте на проходе! — Шкурова

почуял, что не вырос, даже умалился в подзадолбавшее вечное препятствие вроде клеенчатой сумки с бураками, банкой томата и подсолнухом сверху с приколотой бумажкой «Заберет Лена в Солятах»; лязгая, проводница запирала дверь, не мог же он остаться вот таким, ну-ка, пусть его расколдуют обратно! — А Посохов, тот, что бегал за мной как кутенок, полы у меня мыл... Зерно ведрами воровал...

— Тю-ю, его давно не видать. Он в области, в Америку с Медведевым летал, уже проплатил — осенью губернатором будет! Да пройдите наконец на свое место — во прилип!

Поезд тронулся, пошел, с мрачной плавностью вперевалку двинулись по обочинам древесные космы — Шкр-ов поднял глаза на оставшиеся неподвижными, но все-таки одновременно стеснительно поплывшие еще едва заметные звезды, словно двигались они только тогда, когда их никто не видит.

Из купе в проход покойницы торчали пятки, набегавшиеся по Москве ступни отдыхающе пошевеливали пальцами, Шкр-ов запоздало сыграл в купейную орлянку «с кем попадешь», раз — в его купе, колени в стороны, пузо вперед, развалились наглые и молодые, наряженные американцами девка, крашенная в оранжевый, губы облеплены железом, как у рыбины, не раз рвавшей леску, он — бритый, в цепях и с татуированной шеей, не разнимая рук, участники сообщества «любители друг

друга поглаживать», уроженцы какого-нибудь Спасо-Цепляево, не видного ни с какой асфальтированной дороги, громко, словно одни:

— Ты заметила, солнышко, они в колбасу кладут какие-то специи — до сих пор запах во рту!

— Хочу на джипе ездить, на легковухе — никогда!

Шкр-ов, чтобы заткнуть и приземлить, значительно вытащил айфон — а вот такая есть штука... Молодые в мгновение прекратили жевать резинки и достали — каждый — по айфону! Шкр-ов, чуть не порвав молнию на сумке, вытянул — айпад! И они — папаша, напомнил! — порылись и достали айпад — только айпад-второй; и отыскали и бухнули на стол еще и «кэнон» с длинным объективом за восемь штук! Он не выдержал всей этой быдлатины и, как только молодые, пожалев двадцатку на чай, повалились спать, отказавшись платить за постельное белье, пересел в соседнее — но туда заселилась женщина с дошкольником, там качался чай с лимонным солнышком, и к нему добавилось пластиковое корытце с жареной курицей, придавленной в мусульманский поклон — пожило золотились растопыренные куриные крыла; в Ожерелье еще подсел мужик: вы ложитесь, когда удобно, я спать не буду, я храплю, особенно когда выпью пива, мужик не останавливаясь говорил — там у него где-то имелись внуки, но довольно вялый зять. Или не желающая работать невестка. Короче, «они» мужика не удовлетворяли трудовым рвени-

ем и доходами, но внукам требовали материальные блага. Через каждые пять минут мужик повторял:

— А с другой стороны, как их, маленьких-то, не любить? — и с отчетливым, но осторожным чувством поглаживал дошкольнику коленку; Шкр-ов читал газету, на самом деле увязнув в первом же заголовке — «Смерть Мубарака — это всего лишь вопрос времени» — херня какая-то — «Смерть Мубарака — это всего лишь вопрос времени» — мужик выдул банку пива, покраснел, всосал вторую, залез на вторую полку, «просто полежу», снял рубаху, перевернулся на спину и захрапел; Шкр-ов перебрался в следующее купе, всё больше чувствуя себя болящим, пожираемым «всё напрасно», — не задалось; в следующем с любовью и осторожностью застилал простынку подземно-бледный мужчина — с встряхнутой простынки на колено Шкр-ову перелетело кудряшкой сизое перо; кто вот он? — разглядывал Шкр-ов горестно-тонкие губы, неприятно притягивающее, словно только что лишенное бороды, лицо, — флорист? Другое насекомое?

— Я преподаватель политологии. По-старому — логика, диалектический материализм и марксистско-ленинская философия, — преподаватель уселся напротив, на дряблой шее его болталась сумочка для авиабилетов.

А кто я? — просто не задалось, с самого начала то есть не задалось, во времена, когда туземцы гребли на пирогах, когда танкисты и собака, вот тогда

Шкр-ов имел две мечты: сбыточную и несбыточную. Сбыточную — стать летчиком-космонавтом, бюстом, дважды Героем; несбыточную — играть на гитаре на танцах на летней площадке посреди сирени за волоконовским ДК железнодорожников. По первому пункту Шкр-ов понимал: школа с золотой медалью, летное училище, комсорг эскадрильи, диплом с отличием, тысячи часов налета на самолетах различных типов, вступление в КПСС, академия, диплом с отличием, отряд космонавтов, Звездный город, центрифуга, сообщение ТАСС, Марс; а вот как попасть в ВИА, отрастить волосы, фотографироваться с гитарой, все в одинаковых рубашках, ворот рубашек поверх пиджака — Шкр-ов не представлял вообще никак, даже вслух произнести не мог, не то что «я буду...», даже «я хочу...» Даже — «а хорошо бы...»!!! И, веря в коммунизм и в вот сейчас, вот уже близкую, послезавтра победу медработников над смертью, еще не закончив даже школы, Шкр-ов окончательно знал: не играть ему на танцах в Волоконовке, никогда не заметит его Ленка Смыкова (Шкр-ов даже лица не запомнил, так, по мелочи: лак на ногтях, каблук, а фактически вся состояла из белых волос и белых высоченных ног, и напрасно шерстил (хоть тридцать лет прошло!) «одноклассники» и «контакт», он даже фамилии не знал (это она по матери — Смыкова), так и уедет осенью в свой Ворошиловград, а следующим летом, может, еще и не приедет).

И поэтому так больно, незаживающе порезался он, когда носатый, освобожденный от физкультуры Женя Михайленко с Казацкой сказал: «Я неплохо пою», — как это он может неплохо петь, Шкр-ов же не может — или может, и много лучше, да только кто проверял?! Как может Женя сам это решать про себя? Кто ему позволил? Не способности, не чужие таланты цапнули Шкр-ова и выдрали кусок мяса, а уверенность, с какой Женя так сказал про себя: я неплохо пою. А Шкр-ов никогда, даже сейчас, ничего определенно про себя ничего не мог и желал Жене сдуться и сдохнуть, так, в общем-то, и: выперли из школы после восьмого, дембельнувшись, Михайленко поиграл по ресторанам и приземлился в пивную очередь у второй столовой на Зацепе, женился, развелся, разбился на машине, женился, взял с ребенком, она отсудила у него хату, и часто, как доносила родня, валялся теперь пьяный певец-гитарист с разбитой мордой в камышах под Агошковским мостом и выпрашивал деньги у прохожих на автовокзале, а Шкр-ов ехал строить дом в четыреста квадратов в козырном месте — а всё равно проиграл он: у Жени были вовремя джинсы и рыжий пиджак, Женя катал Ленку Смыкову на мотоцикле ночью на Оскол, он играл на гитаре на танцах и что-то напевал; что здесь можно изменить? — с разгромным счетом. Шкр-ов ехал в Волоконовку отыграться. Зря?

— Интересно, — сказал преподаватель, — подсядет кто или поедет в режиме «СВ»? Живу один.

Своя однокомнатная квартира. Природу очень люблю.

В соседнем купе прервался равномерный подсолнечный хруст и полетели матюги:

— ...! На ровном месте!.. — кричала баба. — На ровном месте! Махать ты будешь... Я сейчас сама махну, и мало не покажется! — поминалась «ее» мама в Волгограде и давние счеты с «его» родней. — Придурок! Тормоз! Всё, не подходи ко мне!

— Свет...

— Никогда! А ты иди зубы почисть и быстро спать!

Соседи вытолкали вон мальчика — мальчик застыл в коридоре с полотенцем на шее, схватившись за поручень, обняв поручень, прижавшись щекой, словно утопающий держась за подвернувшееся наконiec бревно, встретился взглядом с Шкр-овым и отвернулся: это никого не касается.

— Собираюсь в Патаю, — сообщил преподаватель, — хоть и сезон дождей. Захотелось вдруг общения, — и робко поднял глаза на Шкр-ова, — острых ощущений. Думал, в Хорватию. Там нудистскими пляжами увлекают. А до этого пять лет в Абхазии отдыхал. Там привлекает, что на пляже — совершенно один. Что вы не раздеваетесь? Не стесняйтесь. Давайте закроем дверь?

В последнем незанятом купе Шкр-ов заперся, чтобы ослабить зловещие возгласы проводницы: «Кат-лет-ки по-донбасски!», чтоб не просунулись чудовищно раззявленные черные зубастые морды

под молитвенное: «Кета, лещ, горбуша, сомики; берем, ребята, подешевле...», встречный поезд тащил мимо возможности: в одном купе целовались, в следующем, болезненно прищурившись, спала женщина, вцепившись жилистой рукой в сомкнутые рукоятки сумки; дальше: женщина размахивала страшной вилкой — что она говорит? — на потолке мигала пожарная сигнализация, как огонек плывущего высоко самолета, Шкр-ов поднес губы к оконной щели — из нее коротко пыхало ночной, сырой стужей, перестукивающейся и шипящей, звезд больше не видать, только поближе к поезду мелькают какие-то белые столбы, почему всё потеряло смысл, если бы уснуть, сон — охранительное торможение клеток головного мозга; он застелил полку, в которую меньше дуло, зажмурился и начал смотреть, что покажут. Сперва показывали лес и лес, мелькающий за окном без железнодорожных шторок. Потом как-то стемнело, и дальше уже показывали что-то без цвета, вернее, что-то, в чем цвет не имел значения — там его не просто не было сейчас, цвета там вообще не существовало.

Нет, не получалось как у всех — все повалились и уснули разом, простодушно выставив в коридор сандалии и кроссовки, подозрительно одновременно, словно намеренно бросили Шкр-ова одного, что-то приближавшееся знали. Или просто измучены духотой. В Чернянке стояли двадцать шесть минут, меняли тепловоз, далеко от станции — здесь

никто не садился, проводница отперла: «Десантируйтесь потихонечку», и он спрыгнул на щебенку; вот, сюда, в его вагон из тьмы раздраженные санитары тащили ущельем меж вагонами и цистернами носилки, женщина с прической, напоминавшей нависший надо лбом утюг, направляла их; точно — в мое купе! — поближе: в руках женщины оказалась кошачья переноска, несли старика — старик втянул щеки и свалил облысевшую голову на бок, нарядили его в костюм, выглядевший новым, словно там, куда старик собрался отправиться, встречали по одежке. Шкр-ов отвернулся и ушел к молотковым перестукам и ощупывающему свету фонариков — осталось запастись свежим воздухом. Всё отмеренное уже случилось. Дно.

Он долго не возвращался в купе, женщина с утюгом на голове возилась с пуговицами и наволочками, поправляла, подкладывала, укрывала, поила, какие-то таблетки, «Спокойной ночи, папа» и ушла в плацкарт, ее сменил ветеран с наградами, ползший из вагона-ресторана, — может, их везли праздновать Девятое мая? Может быть, даже в Волоконовку, но разговаривали ветераны, как незнакомые, — голоса их Шкр-ов слышал неясно, словно сквозь сон, будто они, старики, уже забрались на небо или преодолели значительную часть пути до облаков.

— Четверых детей чужих воспитал, — размеренно говорил тот, что лежал, первое, что, видимо, постоянно приходило в голову в эти оставшиеся ему

часы и дни, — потом уже узнал. Такая она была, — и вздохнул, но без осуждения, с болью от того, что «была», — так казалось Шкр-ову, — при немцах — с немцами. После немцев — со мною... Ребятам она перед смертью призналась, а девчонкам еще раньше... Девчонки знали. А я — нет. Но они ничего, так... Нельзя сказать, что заброшен. Всегда есть на хлеб и чистую рубашку. Старший сын на генеральской должности в Белгороде, звонил, поздравил. Но внуков не вижу...

— Пусть это всё уходит в историю, — второй старик оглушенно не знал, что полагается... при таких вот э-э... обстоятельствах, и решил применить лично опробованное единственное средство, существенно продлевающее жизнь.

— Так она давно уже в истории, — живо, но с оттенком раздражения, разве об этом, — ее уже нет, — и волнуясь, как о познанном чуде, торопясь донести: — Оказывается — в одном миллилитре — спермы! Должно находиться — двадцать миллионов — сперматозоидов! — Для него важным было выговорить верно. — И все они должны двигаться вперед, чтобы были дети. А нет столько — заниматься... ну вот... как это... сексом — можешь. А детей не будет. А у меня, — воскликнул с горечью, — всего миллион! — не сказал «было».

Второй дед помолчал в уважении перед вставшими перед ним внушительными цифрами. Вряд ли он задумывался прежде о собственных показателях.

— А она узнала. И скрыла. И сказала: я только хотела, чтобы ты был счастливый. Как все. Чтоб у тебя было... — с ударением на «о», и замолчал, словно по лицу его потекли слезы...

Второй как бы после раздумий осторожно спросил:

— А можно ли поинтересоваться, большая у вас пенсия?

— Пенсия у меня маленькая, — с не меньшей горечью, — двенадцать тысяч. Была надбавка за две «Красные Звезды».

— Но при Хрущеве отменили.

— При Хрущеве отменили.

Рушилось и здесь; подальше от падающих стен! — но открывались новые щели, гас свет, в туалете пропала вода, Шкр-ов трижды позвал «извините...» в пещеру проводницы — но ответно только сопело неподвижное тело, ладно растекшееся соразмерно ложу; заставил себя: мое купленное место, что такого — лягу и сразу отвернусь, полка старика казалась пустой, только углами торчали коленки, он высох до скелетного основания. Остались кости, шишковатые соединения костей и складки кожи с белым шрамом на месте бедра, откуда брали, видимо, какую-то запасную часть. Отвернулся. Шорох — погас свет. Шорох-два: старик что-то расстегнул, и на Шкр-ова вспрыгнул кот, пару раз мяукнул и бесшумно и точно перепрыгнул на старика, поточив когти об одеяло Шкр-ова, прежде

чем оттолкнуться для прыжка; спали все вокруг, и Шкр-ов вдруг почувал ответственность за всех, словно сопровождал слепых, надо объяснить старику: всё не так, как ему показалось, — по-другому как-то! — мальчишке из соседнего купе: жизнь другая! — такой, как сейчас, она будет не всегда, так не у всех; проснулся один, на стоянке, женщина, называвшая старика папой, вздыхая, протира-ла пустую полку и, как только Шкр-ов пошевелился, скомкала и убрала за спину окровавленные тряпки и, как «извините», сказала, уходя:

— Умирать привезли.

Где мы? На лбу станции светлело незагоревшее пятно от свалившейся таблички с названием, на поплывшей, ускоряясь, серой земле стояли парники из отслуживших оконных рам, похожие на крыла вымерших, но сохраненных вечной мерзлотой стрекоз, сложенные криво, с нечеловеческим безобразием, на задних дворах ферм высыхали ржавые водоросли сельхозтехники, заправки, магазины и птичники нового урожая сменяла местность, словно кричащая об уличных боях, и следующая станция оказалась безымянной — куда я еду? — в Волоконовке он не ощутил боли, что забросил, что так давно, всё то же; внизу — река в облачных зарослях, через поля идут плечистые элеваторы, заслоняя дымящий сахзавод, и повсюду лежали майские жуки — на пнях, асфальте, автомобильных крышах, — раздавленные или немного помятые, слегка запылен-

ные, полураскрыв панцири и подсохнув — виновато, что не встретили Шкр-ова как следует, выбросились на землю преждевременно, а кто не успел — тяжеловесными предсмертными рейдами бороздили воздух меж березовых веток; отогнав криками хищных вокзальных таксистов, Шкр-ов почему-то забрался в маршрутку и рассматривал телят, убито дремлющих в пыли. Над головой водителя раскачивался рулончик бумажных билетов. Шкр-ов навсегда уже забыл их. А увидел — вспомнил. С разных концов маршрутки деловито шмурыгали носами.

Его ждала родня на Зацепе — показать соседям, но он вылез на площади. Кружили ласточки-соринки, в тишине наискось брели три милиционера. Несли дубинку и наручники. Равнодушные, как волосы. Он осматривался, сравнивал и прошел в парк, захваченный галками, над которым косо поднимался шашлычный дым, в тень, где одиноко сидели замученные неясными мечтами и ясными окликаками неясного подростки с синими подглазьями, и опустился на лавку, чтобы покрепче стать собой, внутри собственного поношенного кожаного мешка со следами наиболее употребимых гримас на лицевой части черепного покрова. И напротив лавка пуста. Ангелы оставили ее, сронив подсолнечную шелуху и розовый обрывок салфетки с куском хлеба. Шкр-ов сравнивал. Потом появились дед с внуком. Внук тянул сок из пакета. Дед облегченно упал на лавку, открыл пиво, показал

внуку пену: видишь? Уже кипит! И всосался в бутылку. Внук приступил к изучению урны.

Похоже, Шкр-ов признал: в его отсутствие этот город стал похож на Москву, подравнялся. Всё такое же. Но поменьше. Прохожие держат в кулаках мобильники, как православные образки. Кока-кола в стекле. Две девчонки из эмо-движения с черными веками. Мотодебил в кожаной жилетке, в фашистской каске с рожками. Особняк начальника ФСБ. «Зона» — так и делает школьные мелки. Ресторан с кальяном. Пара богатых сынков на «ауди», зябнувший каменный Ленин. Возьми кредит — на каждом углу. У «Царства вин» покрикивают «Воло-коновский “Спартак”!!!» Погранцы. Единая Россия. Таможня. Развалины детской библиотеки. Вай-фай. Шприцы. Только черных поменьше, а так — Москва, уменьшенная, сокращенная до модельной малости, способной дать кому-то примерное представление без лишних временных затрат, что за Москва такая была, есть... Неясно, для чего это сделано. Кому это нас собираются показать. А когда еще пустят скоростные железные дороги... Шкр-ов всё больше терял себя, и родня правду кричала: да тебя не узнать! другой совсем стал! ничего не ешь! Не мог объяснить, не хотел смотреть участок, не слушал про глину и ж/б плиты по дешевке б/у — застыл, погуляю один, в спину кивали: наскуча-ался, родина-а...

Афиши: довыборы в областную Думу, представление лилипутов и уссурийских тигров на сцене ДК

железнодорожников, на солнцепеке отмечали День Победы — дедов в карнавальных пилотках усадили на скамьи спиной к Вечному огню через одного со старшеклассницами с голыми коленками в фартуках советской школы и с белыми бантами; деды, горбясь, опершись кривыми руками на выставленные вперед палки, мучаясь на жаре, смотрели, как патлатый малый с фальшивой медалькой приседает и подпрыгивает, делая вид, что это он напевает: «Как-то летом, на рассвете...»; единственную бабушку, обутую в незашнурованные кеды, усадили позади всех на раскладном рыбацком стуле — она двумя трясущимися руками держала эскимо, как что-то совершенно неведомое, и с трудом подносила к заранее открывающемуся черному рту. Как только пляски с красными флагами закончились и микрофон принял батюшка, тучный, в круглой шапке кирпичного цвета, все вдруг поднялись и повалили в разные стороны, деды расползались, глядя в землю, сжимая понурые факелы из цветов, только бабушку уводили пустой — Шкр-ов мигом купил упакованные розы, догнал, разинул рот благодарить — бабкина провожатая отмахнулась:

— Глухая! Она вас не слышит, — забрала розы и тряхнула ими перед бабкиным носом: видишь, старая? Тебе, тебе!

Батюшка помладше, видимо, из подручных, с рыжеватой кудрявой бородой до пупа, попросил, глядя куда-то за спину Шкр-ову:

— Если вам что-то надо, поторопитесь, я буду закрывать. Издалека?

— Москва. — Шкр-ов прошел в церковь, взял с прилавка два листка, опять не удержал: — Дом строю. Позову вас освятить. А может, и жить пере-еду, — нагнулся и писал имена, разделяя на «еще» и «уже».

Батюшка покосился на его столбцы и сильно сжал кончик бороды, словно освобождая от влаги:

— Пятнадцать рубликов имя.

Шкр-ов возмутился:

— Да в Москве — по два пятьдесят!

— Это вы давно, наверное, заходили, — усмехнулся батюшка с неприятной недоверчивостью, — сейчас по два пятьдесят уже нигде не стоит. Даже в регионах. Два пятьдесят! Воображаю, что они вам... За два пятьдесят... А мы ваши записочки передаем на молитву оптинским старцам! И если вы человек просвещенный, наш, россиянин, должны понимать — выше качества нет. Их молитву напрямую Бог слышит, дойдет в тот же день, тут у вас гарантия! И если, — батюшка провел бледным пальцем по именам родни, — больше тридцати, скажем, имен, я вам скидочку — праздничную, выходного дня, плюс как впервые заказавшему — пятнадцать процентов, больше не могу. И подарок от храма — два календарика, они освящены, исцеляют, можете к болящим...

— А дом? Сколько стоит освятить? — задохнулся от обиды Шкр-ов.

— Пятьсот. Если один этаж. Такой, просто дом. До ста квадратов. Двухэтажный — тысяча. Если без мансарды.

— А если фундамент свайный?! — Шкр-ов порвал свои бумажки с омерзительным треском, с каким рвутся только деньги. — А если котельная в цоколе? А терраса застекленная и отапливаемая — считается? Будет скидка, если второй этаж из бруса?! А если септик с гидроизоляцией? На двадцать кубов? Почему кубик говна? Сколько за второй камин и чердачное окно, если запорное устройство на пружине?! Где у вас уголок потребителя? Должен быть — я имею юридическое образование! — Сел на траву под кусты, растущие тесным сплетением, взрывом из одной точки, скрытой землей, на бычки и пивные пробки, чуя, как душное сильно накачивает волной и слабо отступает; всегда мог объяснить про себя: не выспался, неблагоприятный (в газете писали) день, опять обожрался на ночь, устал; сейчас — не мог. Смотрел, смотрел на часы, пока не явилось доказательство жизни — стрелки шелохнулись, уменьшился угол. Воробей деловито склонился над оглушенно трепыхающимся жуком, завалившимся на спину, — для начала отклевал по одной отбивающиеся ножки, после чего жук оказался неподвижным, как бы уже и неживым, и некричащим, продуктом, готовым к употреблению, затем отслоил и оторвал половину панциря. Всё это сейчас пройдет. Так надо писать на обертке жизни.

— Шкр-ов! — его опознал старик, кативший велик с корзинкой над передним колесом.

Шкр-ов растерянно встал: мужик неотменимо оказался его одноклассником — Мишкой Беспалько, но и на столько же неотменимо точно был стариком, потерявшим пару зубов, плешивым, колюче запорошенным седой щетиной, — это не могло соединиться, но уже не разъединялось, Шкр-ов с неподвижным ужасом страшного сна смотрел на (дружили, дрались с вокзальными, Беспалько его, как слабого, защищал)... Как на собственную ногу, прихваченную трясинной (он помнил, как на Новоездоцкой в камышах тонул теленок) — не вытащить, сейчас медленно потянет всё остальное за собой, и бессвязно:

— Видал, Миха, какая у вас церковь... Эксклюзивные военные и ветеранские гробы. Услуги в организации поминальной трапезы. Лифт для опускания гроба-холодильника. Полный спектр. Омовение, облачение, бальзамирование и драпировка земли лапником! — В корзинке у старика Мишки лежало что-то мясное, прикрытое газетой, Шкр-ов вспомнил хоть что-то личное: — Как твоя крестница?

— Хорошо! — весело ответил Мишка. — Инвалидность оформляем, легкую такую. Эпилепсия. Но не падает, так, сползает. Родители такие нервные. Мать вообще сумасшедшая. Отец чуть что — кричит, — взгляделся, — ты чо так выгля-

дишь плохо? Постарел. Схуднул. Серый какой-то... Не болеешь?

— Не знаю.

— К бабке тебе надо, на Суханову гору... Бабка у нас появилась, непонятно откуда, Бог, наверное, привел. Рак останавливает. Воск над тобой нальет в чашу с водой, и ты ей открыт. Я только нарисовался, она: тебя собака в детстве напугала. Всё про меня рассказала! А воск потом выбросишь на первом перекрестке... Уже из Воронежа ездят, из Ростова, немцы... Это тебе не... — Мишка указал на храм.

— На Суханову гору.

— К бабке, — с уважением к известной силе утвердил таксист и похвастался машиной, словно продолжая начатый разговор, — моя первая жена.

— А вторая?

— Такса есть. Длинношерстная.

На поворотах и над братскими могилами целились в небо пушки, минометы и танки, ветер шевелил пух на брюхах сбитых кошек, прилипших к асфальту, по горе над Новой Симоновкой шевелились, ползали...

— Что это?

— Да байбаки. С Украины мигрировали... Двести рублей. Отсюда ножками. Бабка не любит, когда до кельи подъезжают.

Шкр-ов заплатил:

— Всё как обычно? Отстегиваете на общак?

— Ага-а... А с тех денег в зону — одна шпроти-на попадает, с седьмого раза.

Поднимался вдоль меловой осыпи, над крышами Суханова — домов сто; внизу, на поляне у школы, останавливались местные и показывали на Шкр-ова: еще один; уже взмок и запыхался, но впереди и выше видел только цветущие яблони и ласточек: то прошивали небо быстрыми нырками, то часто промахивали крыльями — раз, раз, раз! — словно что-то измеряя, неизвестная птица мелькнула совсем низко, едва не тронув его волос, бросив в уши упругий, растопыренный пернатый воздух, — а вот: сперва показалась высокая труба, а под ней и строение, вроде сторожки, обложенное силикатным кирпичом; на дубке у двери лысый мужик в армейской рубаше поправлял косу:

— К матушке? Сейчас нельзя, ждите.

Что он сможет сказать? В заросли орешника указывала табличка «Туалет» — это когда очереди, «в сезон»... Как описать? Я чувствую себя как в капле. В чем-то отдельном и падающем, прозрачном, но безвыходном. Как-то странно просыпаться и вставать по утрам. Слова засохли в горле и, когда выходили, корябались.

— А это? — Шкр-ов показал на черный суставчатый бич, кольцом висевший на гвоздике за спиной у лысого.

— Плеть, — тот протянул руку и показал на биче узлы, — по числу смертных грехов. Мы иногда про-

сим: посеки нас, матушка, за грехи наши. И бьет, — и как бы удивляясь, добавил: — Больно так.

Из будки выскочила девушка в синем костюме для спорта и, не взглянув на Шкр-ова, побежала по тропинке вниз, равномерно, словно бегала здесь для здоровья каждое утро, — белокурый ветер заплясал у нее с плеча на плечо.

— Из Краснодара. Дружила с мальчиком. А потом что-то перестала. Свататься пришел — отказала. А потом из ее дома фотография пропала, и началось: визжит, лает. Сюда привезли — выла так, что я не знал, куда прятаться... — Лысый отложил косу, поднялся и заговорил строже, исполняя свое назначение: — Молча зайдешь, ложишься — на пол! — на живот, вдоль дивана, голова к печке. И ждешь. Помни: матушка в руки денег не берет!

Низкая, узкая оказалась комната, иконы, дрова на железном листе у печи — холодно, наверное, еще ночами, подтапливают, диван в три слоя укрывали ковры, песок в тазу утыкан зажженными свечками; раз пришел — Шкр-ов стал коленями на половик, сотканный из лоскутов, — ужасно глупо — и по-пляжному лег, подперев подбородок ладонью. А может, она ничего и не спросит.

Вышло наоборот: сперва, мягко и быстро ступая, бабка — маленькая и сухая — оказалась за его спиной, не показав лица, в фартуке, — всё, что увидел, уже что-то делала над ним, а потом, как бы

после, стукнула дверь, и раздались приближающиеся шорохи и звяканье задетого ведра.

— Не горячо тебе? — почему-то спросила бабка. — А то я убавлю. Чтоб спину не сжечь. И еще разок, — быстро отошла и отряхнула руки над тазом с песком, — слышишь, как лопаются? Это я у тебя соли из позвоночника вытянула, вон как сыпятся на пол, — отряхалась еще, — сейчас спинка остынет, терпи... — не чувствовал ничего, — вижу, собака тебя в детстве напугала.

В детстве; Шкр-ов вдруг узнал в бабке Дусю Гусакову, ее звали Партизанкой за привычку подглядывать в заборную щель; он почувствовал необычайно сильную надежду и радость, потому что Гусакова была старушкой уже в его детстве и то, что она еще оставалась жива, означало, что и Шкр-ов еще не совсем... Не далеко ушел от начала... Не глубоко...

— Баб...

— Матушкой зови! Какая я тебе бабка!

— Баб Дусь.

Гусакова еще раз, но уже не так выразительно встряхнула руками и отозвалась неясным обморочным голосом, будто очнулась посреди смутного сна:

— А? А чей ты есть?

Она жила в столбянке на углу Ворошилова и Карла Маркса, садила и сдавала государству чеснок и продавала мясо — соседка выносила из мясокомбината, и всё время выходила замуж, и брала всё

младше и младше; бабушка Шкр-ова говорила, что с первым мужем Гусакова прожила двенадцать часов.

— Внук Марии Ивановны Писаревской с Ворошиловской. У вас молоко козье брали.

— Мария Ивановна моя подруга была. А какой же это внук? — подошла присмотреться.

Шкр-ов поднялся на ноги, а потом опустился на диван, чтобы маленькая Гусакова хорошо разглядела.

— Оксанкин сын, Славка? С Харькова?

— Нет, у Оксаны две дочери. Я сын Виктора, что на хлебозаводе...

— А-а, помню, тот, что в медакадемию поступал, — Генка!

Шкр-ов вздохнул:

— Генка — это Фельдмана внук, зуботехника. Мы жили за водокачкой, напротив Уколовых.

— А-а, вот ты чей... Шустрый такой бегал. Туда! Сюда! Самолет на веревке крутил.

— Да, — рассмеялся благодарно Шкр-ов, — точно!

— Дед Уколов всё говорил, — Гусакова потрясла воображаемым костыликом, — о це буде чоловік! Читака!

— Нет, это про Вовку, старшего фельдмановского...

— Что моряком завербовался...

— На флот. Я за клубникой к вам лазил, забор повалили с Зубенко.

— Зубенко — этот... — как его...

— Швед.

— Швед. Его помню. На мопеде своем... А ты тот внук, что в милиции на вокзале, а потом лекарства начал продавать?

— Это Пономарев, что на Котовой женился.

— И развелись.

Гусакова присела рядом, они потерянно помолчали, но она попыталась еще:

— А не ты жил в Карпихиной хате с хохлушкой с дистанции связи?

Шкр-ов покачал головой и тоже приступил, отчетливо:

— Вы — Марию Ивановну Писаревскую — помните?

— Так подружка моя.

— У нее дети: Оксана, Григорий, Рита, Федор и Виктор, — подождал: встал следующий кирпич? — идем дальше: — я Виктора сын. Помните, — да вот же: самое простое! — сразу надо было, — баллон вам газовый кто прикатывал?

— Ты! А мы с тобой блукаем! — беззубо рассмеялась баба Дуся, разгладила фартук и шлепнула Шкр-ова по коленке. — Да всё я помню. Я же тебе удочки деда Сени отдала...

— Три! Я мясо у вас брал, — не забыл: по три двести! — передавал сумарики на Оренбург!

— И в Палатовке ты построился. И пчелу держал...

Шкр-ов мученически вздохнул. Но больше уже не мог — бесполезно. И кивнул: хрен с тобой, да. Пускай так, да.

— А я тебя сразу угадала. Да ты чи и не изменился? И медку нам, и на столб лазил, когда электричество оборвало, — и обмерла, словно внутри нее столкнулись два равносильных железнодорожных состава: вспомнила! — Так тебя песком на карьере засыпало... Я ж была на похоронах... Отец плакал: я виноват. Гроб криво встал, и все побоялись направить, а Сашка Уколов прыгнул, поправил, и через год его на переезде, — показала руками: бах и бах! — испуганно взглянула на Шкр-ова и отсела, перекрестилась, посмотрела на дверь, на окно: позвать?

И встала — голову ее покрывала черная шапочка с нашитыми красными языками пламени, взяла из коробки от сахара свечу и подкралась к огню — поджечь.

— Как дядь Боря ваш?

Заключительный муж Гусаковой, лет на тридцать младше, работал, кажется, сантехником, но, непонятно где набравшись блатных понтов, сел за драку, с зоны вернулся с язвой, баба Дуся отпаивала его молоком, а он продолжал кидаться на людей.

— Бог, видно, оглянулся на мои страдания, — Гусакова отвечала словно сама себе, не оборачиваясь, — ехал на мотоцикле на Новоездоцкую, один и дорога пустая. И одно-единственное дерево там стояло. Он точно в него головой, — никак не мог-

ла зажечь свечку, совала куда-то одинаково мимо, словно видела рядом другой огонь, — а Мария Ивановна подружка моя была. Как плохая стала — всё в куколки играла...

Шкр-ов на одно мгновение расплакался, вскопчил и, еще не разгладив лица, поймал бабкин локоть и навел фитиль на язычок пламени, словно продел нить в иглу.

— Плохо я вижу, — вот теперь она говорила именно Шкр-ову и страдала, что не может по имени, как живого, — опухоль у меня в мозгу. Говорят, в Израиле вырезают такое... Через нос? — не посмеялись над ней? Бывает такое?

— Да.

— Записали меня. Может, успею подкопить.

— Я пойду. К вам внучка приезжала из Ворошиловграда, Смыкова... Белые волосы, ногти красила на ногах, каблук.

— Платформа! Леночка. Во Владимире живет. Телефон есть.

Счастлива? Замужем? Такая же красивая? Вспомнит меня? Не сейчас. В следующий раз приеду.

Бабка еще что-то непонятно сказала, поняв, что привело и что его может поправить.

— Как?

— Рай ограждает стеклянная стена. Запомни. Рай ограждает стеклянная стена.

Пожал плечами: ну... Гусакова молча загородила выход и скособочилась, будто решив получше по-

казать Шкр-ову фартук, и так стояла, пока он не понял, зачем посреди фартука большой карман — матушка не берет денег в руки, — и сунул в карман одну тысячу.

Вечером обстоятельства и правила заставляли проявить любовь — Шкр-ова отправили гулять с шестилетней Людой, девочка, проламывая кусты и перепрыгивая канавы, с такой страстью носилась за кошками, словно ими питалась.

— Прекрати! Пожалуйста. Это волшебное слово.

— Это не волшебное слово. Это набор букв.

По возможности он сразу опускался на лавку, лавка сразу превращалась в кровать, потом в лодку, вокруг появлялась вода, Шкр-ов опускал руку в воду, рука растворялась, вода поднималась к плечу и принималась слизывать щеку.

Он слушал, как мальчик постарше выпалил:

— Я обладаю волшебством.

Второй помолчал и сказал:

— Я тоже обладаю.

Требовать «докажи» оказалось невозможным, они без звука признали друг за другом... Люда подбежала:

— А вот там один сказал, что на войне погибло двадцать пять миллионов. А я говорю, двадцать восемь. Сколько?

— Ну, — побеждают большие цифры, — двадцать восемь.

Она побежала со счастливым:

— Двадцать восемь!!!

В толпе на площади он посадил Люду, по каким-то казавшимся ему обидными расчетам окружающих приходившуюся ему четвероюродною внучкой, на плечи — и думал, что недавно так же сажал на плечи ее маму — ничего не изменилось в нем, он тот же, хотя всё успело пронестись и измениться, его не известив; ленивой пробежкой на сцену высыпали местные герои свадеб и юбилеев, и Шкр-ов увидел свою лучшую, недостижимую участь — слева с гитарой подпрыгивал Женя Михайленко, лысый барабанщик о чем-то поговорил с клавишником, вокалистка поправила грудь, еще один малый с гитарой снял свитер и оказался в безрукавке, открывшей неестественно белые, мучнистые руки.

— Как настроение, Волоконовка?!

Площадь взревела. Из тех песен, что они «исполняли», Шкр-ов не слышал раньше ни одной, но толпа подпевала каждому куплету — так бы он хотел жить и прожить... Все, жадно запрокинувшись, посмотрели в предсалютное небо, грузный и толстошей автор гимна Волоконовки выводил что-то неразличимое с отчетливым только «мой м-ма-аленький город, мой м-ма-аленький город...» в припеве, из-за ДК железнодорожников ударил салют, и все глядели вверх, словно готовые читать, и туда, в небо, по-мышинному семеня, взбегали огоньки и рассыпались в брызги.

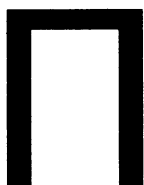
Ему разложили диван, комната называлась залом потому, что напротив дивана в пустом книжном шкафу стоял телевизор, Шкр-ов остался один посреди невероятной тишины. Только горлицы и насекомые. Словно что-то вот.

Еще не всё, совсем еще не всё, современные технологии, желание и упорство каждого дня, поставил купленный диск и ткнул пультом незримого врага, в телевизоре появилась черная, обитаемая тишина, в которой что-то шевелилось. Прислушался: нет, тишина, но потом кто-то начал перебирать струны, по-американски. Американцев Шкр-ов, как и все, ненавидел. Они повсюду, всё из-за них, и никуда без них, это из-за них от нас почти ничего не осталось.

Появился мужик в желтой рубашке, типа «меня зовут Джордж», по-другому, точно на «Дж» (Шкр-ов стеснялся сделать громче, главное запомнить основные правила, чего там может быть хитрого), рука Джорджа прибито лежала на гитаре, пальцы подозрительно не шевелились, на переносице при произнесении отдельных слов собирались мученические складки: а, вот что он сказал, ноты знать не обязательно — супер. И вы сможете поражать игрой близких. Запись на диске — час восемнадцать. Но заниматься надо больше. Гитары бывают три, даже с нейлоновыми, это потом... Лицо Джорджа сделали крупно, накануне бухал, вы готовы? — понятно даже по-английски; теперь его показали

в синей рубашке, важное первое упражнение, вот, вот: ребята, не упускайте возможности, когда возможности начинают идти, или возвращайтесь за ними — скоты-американцы так и делают, не русский Ваня — теперь у Джорджа оказались невымытыми волосы, но держался веселей, влил в себя стакан, бритое лицо, на котором почему-то явственно проступают очертания бороды, кантри, блюз, рок, говорил он, сейчас покажу, но такие черные волосы у него, черные носки и туфли — сливаются с тьмой, что окружала Джорджа, как-то вытекал он из американской этой тьмы, или втягивала она его, он веселей говорил и даже пару раз всплеснул руками, прежде чем начал брэнчать, но уже поздно — Шкр-ов спал.

Ксенос



ришли результаты.

Врач (не его, не лечащий, лечащий запил и сломал ребро, месяц не будет) сказал:

— О-хо-хо-хо-хо-хо-хох... А кто на-
правил?

— Никто. Сам.

— Все говорят: жена направила, — врач нахмурился, вздохнул, «и мне это непросто», взглянул на него: «ответ — да; понимаешь, ЭТО», закусил губу, поднял брови, сощурился, с ожесточением поскреб средним и безымянным неизлечимо чешущийся пяточек над ухом. — Ну, что. Если по-мужски... Вылезла — такая гадость. Скажем так — есть. И с та-

кой пока, ну, как бы — неутешительной тенденцией... Требуется экстренные меры, и период последующий, длительный, будем надеяться... Который потребует от вас и ваших близких... — врач неожиданно вскрикнул: — Как вы?! Справляетесь? — словно человек, пытавшийся его слушать, затаскивал в лифт детскую кроватку.

В человеке бил мягкий молот крови, человек глух, человек нащупывал в памяти цифру дня, время непрерывно, шорох и стрекот, без всякого завода, поэтому изменяюсь, всё вокруг, бессмысленно смыкающееся во что-то назидательное, называющееся «твоя судьба», вот что подумал: так и должно было, он же знал, так устроено, у всех так устроено, не кем-то, просто устроено, но у всех, и у кого много денег, если только позже, и то — не всегда; врач бросился звонить:

— Всё нормально, девочка моя. Я понял, малыш. Я не голодный, солнышко. Я же супчик покушал. Я тебя люблю, зайчон. Как Дианочка? А мыльце вставляли? И я... И я тоже... Целую, лапулечка.

В коридоре. Там сидели люди в домашней одежде, уткнувшись в телефоны, как в образки, у некоторых, кто потерял волосы, кто-то вырвал глаза — они смотрели дырами; надо отметить, когда-то он боялся прыщей и всего, что включало в себя «созревание», и надеялся обойти; мама рассказывала: в молодости ее называли «живчик» — за любую работу бралась, за несколько одновременно; обе его

свадьбы оказались неловкой данью правилам, которые не скрывали своего несуществования. Еще он вспомнил. На кладбище сын спросил: бабушка здесь? Да. Давай раскопаем?

Почему-то не звонила жена. Хотя знала же, придут результаты!

Из палаты он позвонил сам:

— Ты давно стала похожа на жабу. Земноводное!

Вылил в унитаз помой из миски, с трудом соскреб с тарелки пюре.

— Сколько раз надо повторить: не носите мне вашу еду!!!

Та, что толкала тележку с кастрюлями, пробурчала:

— Еще один с диагнозом. Обязательно поначалу бесятся.

Он читал, не понимая, «Порядок сдачи мочи» — поместите материал в пластиковый контейнер, проверьте герметичность примыкания крышки, — пока не обнаружил, что сидит с закрытыми глазами; о чем первом пожалел — о том, что не прожил год у моря, где-то на берегах. Молчать. Узнавать новости от официанток. Остаться, когда все уедут. Никаких дел, кроме — нажать кнопку стиральной машины. Как часто видел в кино безмятежно загорающего (спящего) и намечал: накоплю, отработаю, отслужу, вот так же и я... И сорвался.

Один из маленьких людей, живущих в его голове, подсказал: банковский день; и он — быстро

и бесшумно! — побег, переоделся, разложил на кровати «свое» нанесенное и нажитое здесь — неожиданно много, одному не унести, и вдруг, первый раз почувствовав страх, понял: всё это можно выбросить, больше не понадобится; бомжи (скоты! — ничем не болеют, только погода их тревожит!) в мусорных тупиках отберут всё нужное живым.

Врач еще нарисовал ему режущие-красным на обороте результатов, уже, выходит, не нужных никому: вот — вы, а вот — ваши прямые родственники (имеете прямых родственников?); с прямыми родственниками (исключая несовершенноле...) у вас должен быть один уровень владения информацией, вам потребуется помощь, им потребуется помощь, готовить вас, готовить их, для борьбы мы должны образовать, как я это называю, временный объединенный коллектив (ты же не мой лечащий, ты же замещаешь); а во-от — над всем врач нарисовал крупный незамкнутый овал — прошептал: ваши незавершенные дела — то, что вам надо привести в порядок, вы что-то планировали в ближайшее время завершить, но всё как-то откладывали, и в сторону пробормотал: лучше не откладывать; есть что-то есть?

— Да. Я хотел купить дом в Греции. Прожить год возле моря.

— Ну, с этим... — врач смахнул со стола какие-то несущественные насекомые крошки. — Это потом. Я говорил о — существенных делах, заверше-

ние которых. В интересах. Ваших прямых родственников.

Отдельно про самого человека врач уже не говорил.

За дверью. Он готовился прорываться сквозь слова равнодушных людей (я же убегаю), которые сделают вид, что хотят добра, экстренного вмешательства, лучше знают, что человеку лучше, но он уже стал невидим; медсестра запустила старуху в перевязочную и ушла мимо него допивать чай, крикнув через плечо: «Ну, вы это, там... Занимайте исходное положение!»; на лестницах, схватившись за батареи отопления, отдыхали носильщики продовольствия, денег и хороших, ободряющих новостей — значит, лифт не работал. Охранник читал, поднял голову и улыбнулся подслеповато девочке из справочной — она накинула его бушлат и вышла покурить.

Кто-то сказал в телефон, спрятавшись за столб: «Ну, ты уже знаешь наши новости? Или мне сказать?» — человек пошел прямо туда, опознав свою команду, но там продолжали бесконечно жить: «Перевели на пятидневку. Без предупреждения. И тех, кто на шлагбауме стоял, и на проходной. Знаешь, сколько чистыми в месяц получится?»; меж будущих мучеников с истрепанными историями болезней и подкрепленными свежими печатями «направлениями» проскальзывал, не разгибаясь, румяный распространитель театральные билеты:

— Комедия. Чисто поржать. Другого слова не нахожу. Пять лет в репертуаре. Прошла проверку временем. Театр Эстрады после ремонта. Мраморный зал, белый рояль. Обалдеть. Два часа двадцать минут. В двадцать один двадцать выходите, садитесь на парходик и катаетесь по Москва-реке, — каждому, не пропуская и тех, у кого тряслась голова, и тех, у кого сочилось что-то из уха по прозрачной трубочке.

На улице. Он вызвал такси и с любопытством обернулся — любой мечтает посмотреть на мир после себя, вот он, посмотри: стремительно идет девушка, побежала, и белокурый ветер заплясал с плеча на плечо, может быть, потом сделают так, чтобы на лбу у девушек горели показатели состояний — «Свободна», «Ищу», «Ничего не надо», «Только замуж», «Взяла ипотеку на десять лет» для предотвращения напрасных усилий («Подождите-ка!» — он уже схватился за дверную ручку, когда врач вспомнил, что при объявлении честного диагноза желателен телесный контакт, и, натянув улыбку, опасливо приблизился и пошлепал его по плечу определенное количество раз и с разной силой, словно сигналил затаившимся внутренним органам); захлопнулась автомобильная дверца, выпроводив плевков.

Шли люди в поношенных кожаных мешках со следами наиболее часто употребляемых гримас на лицевых покровах (но первое, что он на самом деле подумал: ну и ладно, всё, что не вышло, — в сле-

дующий раз; это не имело смысла, но он не мог так не думать, и он думал: всё остальное, значит, в следующий, не этот раз), проходили бригады скорой помощи, небрежностью и отстраненностью напоминающие апостолов, шли отсыпаться медсестры из реанимации с невымытыми волосами — удивительно преображала их одежда, он едва узнавал, веселые девчонки в коротких куртках с меховыми воротниками — казалось, другая одежда должна им... другая одежда — а так: простые девчонки, ждут их на выходе показательно серьезные, смолящие короткими затяжками. Они целуются, вот он, мир без тебя, целуются, тебя не замечая, и идут в сторону Третьего транспортного. Говорят о кредитах и автомобилях? Но — вряд ли о том, как прошла ночь, кто умирал и кто умер. Им не завидовал. Завидовал тем, кто стоит с тремя розами у метро, первые встречи — до прикосновений, а еще больше тем, кто стоит и ждет, сам еще не зная — какая она, угадывая в каждой и с каждой многое успевая, прежде чем поймет: не она...

Косо пошел мохнатый снег, и небо приземлилось, холодно как, в киоск прошел мужик в больничной робе и шлепках, вышла женщина с ослепленным лицом, в руках пакет, и направилась в сторону, противоположную от остановок транспорта, словно потом поймет и придется разворачиваться, в прозрачном ее пакете покачивались сплюснутые тапки мужского размера и какое-то тряпье — вы-

ходит, двигалась она в свою новую жизнь, вернее — вернее, ступала по новой своей жизни, и всё прежнее — доминутно! — наливалось невероятным счастьем, там (вот оказывается!) всё озарял спокойный и радостный свет, так сильно, что даже тут грел спину, незаметно слабея. Слева сдавала назад праворульная — у водителя из носа выходила гнутая трубка и забиралась куда-то за плечо, мимо забинтованной шеи, в подъезд заходили женщины в париках, кого-то тяжело доставали с задних сидений такси, высоко поднимая коричневые конверты с томографическими снимками, и кто-то, с широко заклеенным поперек носом, в черных огромных очках, шел все-таки сам — всё видел; никто не улыбался — дом походил на портал, через который люди отбывали в другое измерение, их сначала готовили, снаряжали и отправляли, потом...

Потом, когда снег потает... Излишек зрения. Он понял: теперь во всем — только это. Всё вокруг, оказывается, только это. Всё, что кроме... То малое. Несколько цветов... Два вкуса.

— Исчезает цвет, — сказал он, — первым исчезает цвет.

Сырой воздух. Он хотел, чтобы один из тех, кто в его голове, сказал «как пахнет», чтобы не оставаться в тишине, но воздух не имел запаха; ну, хорошо, но разве не здорово — сырой воздух! — он опустил глаза: снег, какой-то удивительный снег, присел, чтобы поближе, — совершенно белый, ну,

был бы совершенно белым, если бы не подтаивал, вминался, рябел, таял и леденел; снег, перемешанный с землей, дотаявший по краям до блинной толщины, леденцовой корочки, никто не взлетает над ним, не роится, даже капли живой нет, по краям все-таки сверкали капли белым пламенем, меловой яркостью, посверкивая, как рыбы бока. Там, где снег (он казался сухим) расступался, лежала мокрая мать-земля, не дающая определить свой цвет, такая безобидная, малолицая, ничтожная, со следами капель и собачьих лап, с пыльными лопастями летучих семян, соломинками, норой подземного жителя — земля; он не смог на нее больше смотреть и посмотрел на ветки — над снегом раскачивались кожаные лоскутки листьев, словно кто-то линияющий прополз здесь в прошлом веке в сторону тепла, обдирая бока о присутствующие здесь тогда колючие тесноты; он бы и дальше стоял, но — ледяной ветер, ветер исполнял закон, под который попал человек, всюду будет за ним присматривать; он зашел согреться в кафе, забыв посмотреть вверх. И ругал себя так: хоть вернись и посмотри вверх, какое же было небо в одиннадцать двадцать четыре, ведь уже не узнает никогда, уже одиннадцать двадцать пять — кафе заполнено жаждущими бизнес-ланча, единственный свободный столик с забинтованными салфетками приборами, над черной оправой аспирантских очков администратора удивленно поднимались нарисованные брови.

В меню еще обнаруживался замах на ресторан с промысловым уклоном — «омуль балтийский», «оленина», по стенам ступали мамонты с гнутыми бивнями, похожими на внезапно освещенные картофельные ростки. Он страшно пожалел, что официантки некрасивы и мертвы, словно работали ночь, словно работали вторые сутки, словно для них всё слилось — одинаковые подносы на одинаковые столы, лишь одной повезло — ее отчитывала подробно и язвительно женщина из мелкого бизнеса, крупных семейных проблем и огромного одиночества за пирожное: пирожное подали не так, как раньше, не так, как она любит (женщине казалось — ее должны ценить и помнить), не такое, как всегда, — зубочисткой она расчленяла пирожное на фрагменты — видите? — и демонстративно выгребла сдачу из папки с чеком — не заслужили; и здесь вокзал, понял он, конвейер, случайное быдло, кухня, заполненная смуглыми рабами в ножных кандалах и с заклеенными ртами, никакого ироничного бармена, запускающего, не глядя, руку в перезванивающиеся на ветру стеклянные плоды, созревшие над головой, никакой красивой официантки, которая сегодня второй день и рада разговору, — стены, одни удаляющиеся стены вокруг, а ему хотелось соприкосновения, подтверждений своего существования, следа, но всё отступало; если только разбить посуду... Нет, не осталось бы ничего. Помнишь, ну это еще в тот

день, когда с утра разбили тарелку. Да, а я и не помню, когда это было...

Погладить бы чьи-то волосы, накрыть ладонью их слепую силу, не знающую, что...

В кафе зашел нервный мужчина с длинными сальными волосами, с подвижным, готовым к обиде лицом, сандалии на босу ногу. Нагнулся к девушке за соседним столом, потом вдруг присел напротив него и оперся локтем о принесенный салат:

— Хотите, я с вами поговорю?

— Нет.

С горькой усмешкой поднялся и вышел.

Он поднял руку:

— Замените салат. Тут заходил сумасшедший и...
Здесь был сумасшедший.

Официантка из азиатского племени огляделась: все спокойно кушали.

— Но вам придется заплатить за оба блюда.
И напиток заменить?

— Давно тут?

— Я в ресторанном бизнесе со школы.

— Всегда хотел узнать: куда девается недоеденная еда из ресторанов?

Официантка нагнулась к нему и прошептала:

— Я — честно — не знаю. И лучше не спрашивать. Одна наша девочка пыталась узнать. И больше мы ее не видели.

С айфона он написал риелтору желания: обжитой дом; нет — старый дом; старый дом в настоя-

щей (круглогодично живущей) греческой деревне. Две спальни, кухня, гостиная. Можно на возвышении, но чтобы много деревьев вокруг. Поблизости пусть будет город, небольшой. Самое главное: спустился по ступенькам — и вот оно, море. Не так — вот он, пляж, лучший пляж с розовым песком на знаменитом своей чистотой море — это обязательно. Но главное — срочно. Заселиться, а потом всё оформим. В конце он написал: «У вас там тепло?»

«У нас скоро зима», — ответила риелтор.

— Что?

Банковская операционистка из другого азиатского племени повторила:

— Вам видно табло данного аппарата? — И еще, закончив пересчитывать: — На счету осталось семь рублей сорок шесть копеек. Будете забирать, или — в доходы банка?

Подушка-путешественница. Уважаемые пассажиры, наш «Боинг»-три семерки... Греческие стюардессы вопросительно взглядывали: «Кофе? Цай?», он полистал путеводитель, «промышленность бурно развивается, есть множество предприятий, оказывающих парикмахерские услуги...», и с жалостью смотрел на рыжую девушку-соседку, насмерть заклеванную веснушками, пока она не заговорила по-немецки, — а что ее жалеть, у нее и так всё хорошо. У него, просто удивительно — ничего не болело, всё он делал правильно, риелтор написала: «Главное, что вы точно знали, чего хотите. Всё бро-

сильно и уехать на море хочет каждый русский. Но никто не знает, что дальше». Он знал всё досконально, он столько думал про «дальше».

Много дней. Ничего не будет происходить из того, что он сам не захочет, даже нечего вспомнить, что же вспомнить (засыпая, море накатывает и сильно бьет), если только: сегодня сильный ветер, обломана пальмовая ветвь.

Рано вставать, поднимая бабочек или воробьев, слетевшихся к бассейну; в доме ярко-белые стены, белые скатерти, деревянные скамьи, деревянные балки над головой, круглые плетеные коврики, плетеные кресла меж кадок с цветами, ветер отогнул и покачивает легкую занавеску, он выходит на высокую террасу, выложенную камнем, здесь сохнут полотенца — синие с белой полосой, над головой — виноградные сплетения и виноградные кисти, вот белая печь во дворе, синие ставни, красная черепица, апельсиновые деревья, вон горы, засаженные оливками, еще повыше — далекие горы, совсем в небе — горы, на которые зимой ляжет снег.

Он открывает калитку, ступеньки ведут к морю, вдоль реки, по которой плавают лебеди, на корягах чернеют черепахи, так рано, что еще невидимые, не развалившиеся на облака небеса белесой толщей смыкаются с морем — словно впереди стена и дальше идти некуда, но идешь и идешь, оказывается — в пустоту, качаются розовые цветы, идешь мимо лежаков, мимо сосны, на которую по-

сле полудня забирается ящерица и замирает, сливаясь с корой, под постоянное, как прибой, говорение птенцов, мимо островка, где, склеив руки перед грудью, стоит утреннее чучело любительницы йоги, здороваясь с пожилой парой в белых халатах. Он — опрятно расчесан и похож на английское состоятельное лицо, навязанное кинематографом, ступает равномерно и бодро, хотя уже и согнуто, не сдерживая размаха рук, но с какой-то ветхостью, словно внутри что-то булькает и пересыпается. Она — со сморщенным лицом, похожая на сгоревшую спичку, держит руки на животе и ступает чуть шире, чтобы идти в ногу. И видно: идут они так уже несколько десятилетий и все места похуже и много хуже — прошли точно так же.

Он выходит на пляж, ноги спящего матроса-спасателя торчат с вышки, из камышовых хижин массажисток доносятся сырые, резкие удары в телесную массу, в таверне накрывают к завтраку, дочь хозяина машет ему рукой — как всегда? — и на четыре части режет каравай; весь день, дотемна, когда официанты, пряча огонь в ладонях, пойдут от столика к столику, зажигая свечи, он не делает ничего, только смотрит: как бессмысленно ходят вдоль моря одинокие мужчины, одинокие женщины, счастливые пары (держатся за руки), счастливые пары с пытливыми детьми (приходится возвращаться или спешить вперед, чтобы скорее, скорей рассмотреть...), как немецкие родите-

ли строят песчаные города (русские так не могут): башни, ворота, мосты и подземные ходы; как, покачиваясь, уплывают к буйкам тела, распластанные на матрасах, вереницей, словно паводок размыл где-то кладбище; он ничем не отличается, кроме одного — ему не нужно будет фотографироваться, чтобы удержать что-то в памяти, он останется, когда все они, кого он видел здесь каждое лето.

Девочка со сломанной в аквапарке рукой.

Женщина, наступившая на морского ежа, — стопа замотана кульком.

Мужчина с сожженной спиной — купается в майке.

Одинокая и веселая девушка, бодрая и целеустремленная, словно приехала на работу, и с каждым днем всё менее веселая и всё более целеустремленная.

Пожилая европейская пара, усыновившая симпатичного и ласкового чернокожего.

Молодые жены из категории «вот что может получиться из расторопной секретарши, если она не будет зевать», и рядом с ними — пожилые мужья, растерянно бегающие за годовалыми наследниками и напряженно (чуть в сторонке) разговаривающие по скайпу со старшими детьми, стараясь использовать выражения и шутки из молодежных сериалов.

Это они все — будут фотографироваться, пить в последний вечер, бросать монетки, удив-

ляться: «Быстро прошло», — и покатают чемоданы, вздыхая, к стоянке такси, и поедут в аэропорт молча, в раздумьях, почему почти всю жизнь мы живем не там, где бываем счастливы, о том, что такое счастье и что такое жизнь.

А он останется дома.

Дождь — он подставил ладонь. Но очень тепло. Душный, удивительно теплый воздух, о чем-то напоминавший ему. С улыбкой он оглядывался на зеленые поля и деревья.

— Такая будет зима, — пояснил таксист, — или еще теплее.

Таксист — седеющие космы на затылке. Таксист легко пересекал двойную сплошную и крестился забинтованной в обрубок рукой на все встречные кресты — машину вел одной левой. Ловко вильнул и переехал посверкивающую змею, приподнявшую острую голову.

— Опасная? — он не сообразил, как сказать «ядовитая».

Таксист пожал плечами: откуда мне знать.

— Есть змеи?

— Полно. И вот такие, — таксист показал толщину забинтованной руки, — вчера на террасе гадюку убил. А из спальни двух скорпионов вынес.

— Я думал, змеи уже спят.

— Не все. Позже. Но такие, — таксист опять показал руку, — не опасные. Кусают маленькие, полосатые. Но не до смерти.

Выехали из дождя, справа в дымке лежало огромное озеро, они обгоняли фуры с болгарскими и турецкими номерами, их обгоняли мотоциклисты с коленками, обернутыми клеенкой — от брызг.

Таксист часто поминал Бога.

Греческого Бога звали Евросоюз, он управлял всем.

— Плохо пахнет. Здесь люди свиней держат. Евросоюз не разрешает держать свиней ближе двухсот метров от жилья... Хороший автобан? На деньги Евросоюза построили. Опять дорожает электричество — Евросоюз требует. Видишь? — таксист показал на каменный акведук. — Восстановили, Евросоюз приказал.

— Кризис у вас?

Таксист сгорбился, словно его пнули в спину:

— Обидели весь народ. Словно мы ребенок, а Евросоюз нас с ложечки кормил: на, на, покушай! Это всё немцы!

— Вам бы туристов. Вон сколько в Турцию ездят...

— Турки?! Турки русским в еду плюют. Это все знают! К ним почему едут? Потому, что турки туристам задницу лизут! А грек задницу лизать не будет. Мы и так хорошо живем! Поэтому, — раскалялся таксист, — к нам все и едут. И нищие болгары. Арабы. И албанцы — эти вообще дикие, под деревьями спят. Армяне — скользкие все такие. Любого армянина спросишь: зачем ты сюда? А у меня бабушка гречанка. У всех, представляешь, — бабушка! И ваши — понтийские греки...

— Из Грузии.

— Наркотики, криминал — всё от ваших пошло! Мы до них спали, не закрываясь. Нет, надо уезжать. Мой брат в Лондоне, объекты строит. Говорит: ни за что не вернусь, разве у вас жизнь — в Лондон надо! Ты что приехал не в сезон?

— Хочу дом купить.

— В отпуск приезжать? У меня друг русский — Славик, начальник в каком-то городе, ну, типа дорожной полиции, он — три! — мезонета купил.

— Хочу здесь жить.

— Зачем?

— Чтобы стать самим собой.

Таксист недовольно помолчал, но не стал переспрашивать:

— Не покупай. Потом не продашь. В нашем городе — десять тысяч! — квартир стоят нераспроданные. Все брали кредиты Евросоюза, все строили... Через год всё будет еще в два раза дешевле. — Приехали. — Вот деревня Афари, напротив димархии — мэрии, так? Сто двадцать евро, — так здесь говорят — «еврО».

Он отсчитал «еврО»:

— А как называют русских греков?

— Руссо понти.

— То есть я в деревне буду «руссо понти»?

— Нет, ты будешь «ксенос».

— А что это?

— Иностранец, — с такой осторожностью расправил меж пальцев двадцатку чаевых, словно впер-

вые увидел бумажные деньги; поманил: нагнись сюда: — Все тебя здесь будут обманывать. Не покупай дом. Сделай пробный год, сними квартиру.

— У меня нет года, — и протянул еще десятку, словно подкармливал банкомат или быстро прожевывающего зверька.

Таксист плаксиво заулыбался, показывая «да что ж ты со мной творишь», но десятку выхватил, подрагивая от восторга:

— Ты не сможешь. Это немцы так могут. Спрячутся за забор, и чтоб вокруг никого. Русские так не могут, — взял еще десятку, растаяв в дрожащее ласковое масло, хватал за руки. — Брат, в любое время приезжай, у меня дом большой, мы — такие, что всем рады! Веселые! Добрые! Да, мы — как русские, брат! — поднятые руки таксиста танцующе затрепетали. — Да ты молодец!

Он бросил в таксиста еще десятку и зашел в кофейню напротив димархии, хотя таксист запел и вылез танцевать, чтобы позабавить лучшего друга.

В кофейне сидели старики и пожилые, напряженно глядя сквозь окно на улицу — перед собой и немного вверх, словно ожидая комету. Не шевелясь. Как подслеповатые подземные зверьки, вылезшие в полдень на меловой откос, чтобы погреться и высушить шкурки. Двое сидели в шапках. Двое перебирали четки, в нужное время подбрасывая их с резким костяным щелчком. В углу телевизор показывал, как взбесившиеся слоны топчут людей.

К нему подошла старуха, похожая на ходячую шубу, на грифа с отрубленными крыльями: принести что-нибудь?

— Кофе, — он добавил по-русски, — греческий кофе.

Старуха покачала головой: такого нет; перечислила всё, что может:

— Латте, капучино, фраппе, эллинико.

— Эллинико.

— Щугар?

— Но.

Но старуха не останавливалась, функция «слушать» активизируется после полного воспроизведения «говорить»:

— Или «но щугар»?

— Но щугар.

С кофе старуха принесла стакан воды — набрала из-под крана. Раньше он думал: откуда они берут столько воды? Чайниками ставят на столы. Так вот.

Риелтор опоздала. На час, и без «простите». На сайте он рассматривал фотографию красивой девчонки лет сорока: светлые волосы зачесаны, насмешливые губы, готовые сказать, и много солнца за спиной — приехала тяжело ступающая баба с крашеной белой копной и дряблой шеей, и столько колец на руках, словно пальцы вдеты в золотые пружины. На толстой маске из красок, закрывавшей лицо, как чужой, располагался черный набор

для зрения: глаза и брови. Когда она раскрывала глаза пошире, наклеенные ресницы касались бровей. Он постеснялся спросить: это я вам писал? Складывал высоту каблука и платформы — сантиметров восемнадцать.

Она расстегнула плащ, открыв совершенно прозрачную блузку, взглянула на него, как умеют смотреть девушки — вглядываясь сквозь кисею и туман, словно после горя — сквозь шекотный, остывающий пепел.

Она пожаловалась:

— Вторые сутки мотаюсь. Встречи, проводы, осмотры, пляжи, сделки... Адвокаты, клиенты, — вздохнула, — женатые мужчины... Через пять часов у меня падает еще один самолет, поеду встречать...

— Хотите спать?

— Хочу, чтобы эти самолеты никогда не кончались. Показы, объекты. Клиенты... Рестораны, — осуждающе, — женатые мужчины, — хоть отрубай палец с кольцом, он заметил сигарету, гвоздем уже вбитую меж ее губ. — Коротко о Греции. Воду пьют с кофе, чтобы не было заворота кишок. Четки называются комболои. Перебирать и подбрасывать не так просто, но смысла в этом ни-ка-ко-го. Хотя есть анекдот: грек (перебирая четки): этому должен, этому должен и этому должен... (подбрасывая четки) а пошли они все! — она рассмеялась, словно высыпалась пригоршня металлически звякающих предметов. — Мне кажется, вы боитесь

ярких женщин... Все почему-то боятся... Гречанки хитрые и наглые. Если красивые — только до пояса, ниже — короткие ноги и широкий зад. Скоро зима. В прошлом году снег лежал тридцать два часа. В церковь ходят, но без тоски, не так, как у нас. Весело. На Пасху поп выступает на площади, а перед сценой барашек на вертеле жарят. И все пляшут.

— И вы так верите?

— Я очень верующая. Очень. Я очень верю в деньги. Через много прошла, и газетами торговала за три евро в час. Теперь ищу мужа. Чтоб культурный, состоятельный, — она заглянула под стол, — и дееспособный. А почему вы решили здесь покупать? Я бы советовала — на островах... Крит. Итака очень красивая — голубые и розовые домики. Сходишь на берег и чувствуешь — здесь ничего плохого с тобой не может случиться. Тасос, Кос. Или — Керкира? Но Керкиру испортили итальянцы — единственное место, где надо проверять счет в таверне.

— Я хотел подешевле.

— Какой у вас бюджет?

— Восемьдесят тысяч.

— Восемьдесят тысяч евро?

Он ждал — ты всё слышала.

Она обидно рассмеялась, и на выдохе постарела лет на пять, и (чего уж теперь) надела очки, хотя смотреть больше не на что.

— То, что вы хотели, за такой бюджет не купишь.

— Я думал, кризис...

— Кризис. И двести тысяч греков сдали номера с машин, чтобы не ездить. И каждый месяц по семьдесят тысяч домов отключают от электричества — никто не платит! И дома не продаются. Но и цены особо не падают.

— Поторгуюемся.

— Греки не торгуются. Тысячу евро не уступят.

— Почему?

— Такой характер. Им кажется, главное — дом. А деньги — это так... Еще не скоро их Евросоюз научит. Это всё ваши вещи? — вышли на пустую, мокрую улицу, дождь кончился, и пахло костром, в темноте шли вдоль домов и пустых участков — посреди каждого на цепи сидела страшная собака, в освещенном гараже старик опалил горелкой маленькие ульи. — Мэр этой деревни, — показала риелторша, — обязанностей никаких. Занимается пчелами.

— Возле моря за такие деньги не получится?

Она от возмущения даже остановилась:

— Восемьдесят тысяч! Еще по тысяче двести адвокату и нотариусу. Мне! Еще налог — пятерка денег. Да и зачем вам возле моря? Дикая влажность — губительно для здоровья. Плесень! Хотите каждый год нанимать албанцев красить и белить? Как вы так рассчитывали?

— Я думал еще подкопить. Но рассчитывал, что квартиры — детям, и сумму на депозите — на жизнь, если потом...

— Да какое «потом»?! Надо сейчас! Как я ненавижу это русское «вот потом»! «Потерплю, а вот потом», «вот выйду на пенсию и...», «отработаю и наконец-то...», «вырастут дети, и я уж тогда...», «подожду, а когда уж совсем припрет...», «вот будет миллион...», «вот если Путина еще раз изберут...»! Приезжают, смотрят и — ничего не покупают. Мы — потом! Немцы — деревнями скупают и строятся. Норвежцы. Англичане! А наши — потом.

Он всё же хотел объяснить объективное: депозиты с капитализацией, в трех валютах, инфляцию, квартиры, одну из которых, теоретически, можно и сдавать, он часто подсчитывал «достаточное для нормальной жизни», в «продолжительность» подставляя «на сорок лет» — и сейчас (катилась сумка на скрипучих колесиках) он, замирая от страха, понимал: подсчеты уже неверны, и никогда не были верны, но он не мог, он не мог, и сейчас не мог, не хотел и не мог, должен, но не мог, не смел от расчетов своих отказаться, всё выходит, а получается — ничего не понимая — всё равно «на сорок лет», и это самое меньшее, мало ли как пойдет на оливковом масле...

— Ну, тогда хотя бы — с видом на море.

— Месеа — дороже на тридцать процентов. Дома «с видом» — месеа. Вот! Здесь можете пожить,

десять евро в сутки, а у бабки Марийки свободный исогео — первый этаж.

Много греческих слов (выучит, что успеет, что-то понимать), старуха в черном, маленькая, как подросток, отпирала дверь, споткнувшись о кошку.

— Зато тепло будет, у ее сына — завод топливных брикетов. Я вам завтра позвоню.

По стенам расходились провода, на крючках, прибитых на затылок к шкафу, висели мужские рубашки. Он переступал через детские игрушки. Два дивана, составленные углом у телевизора, застекленная посуда, огромная батарея отопления во всю стену, в углу кухни прилепилась раковина с трубой слива, косо уходящей в пол, спальню от стены до стены занимали две кровати, зажавшие меж собой тумбочку с лампой.

— Она предлагает принести газовый баллон, чтобы вы кофе согрели... Небольшой такой, однократный...

— Не надо, — он выпустил сумку из рук.

— А вот тут, — риелторша толкнула дверь, открыв сумрачное пространство, заполненное полками с упаковками туалетной бумаги, банками, ведрами, флаконами, сохнувшими тряпками, гладильной доской, унитазом и стиральной машиной, — форточку потом откроете, чтобы проветрить. Завтра позвоню. Хочу вам посоветовать: надо различать мир грез, из которого есть выход, и мир грез, из которого выхода нет.

Она пошептала еще с бабушкой Марийкой, проследила, чтобы он оплатил трое суток, и, когда вышли на крыльцо проститься, предложила:

— А может, это и купите? Локейшн у деревни удачный, кусок моря виден.

— А экология? — чувствовал себя плохо.

— Да здесь ничего не производится, кроме самогона и феты. Дом за чертой застройки, но легализовали. Десять лет назад реновация была. В кладовой калорифер, двести литров солярки в подарок.

Бабушка кивала каждому слову.

— Солнечная батарея, водогрейка. Полы деревянные, но не гнилые. Но лучше плитку положить, она вам при плюс сорока даст прохладу. Шкаф вам оставят, из массива, видели в трапезарии? Такой в России две тысячи евро стоит. Есть гостевой домик, но он апотики — оформлен как нежилое. Участок, — риелторша взглянула на полоску голой земли, огороженной сеткой, — бабушка говорит, где-то вишня есть. И хурма. Вода из муниципального колодца. Хотите, на крышу можно слазить. Шифер, конечно, надо менять... Завтра позвоню.

Бабушка Марийка что-то сказала, еще что-то сказала, сказала еще (заглядывая на крышу) — непрерывно, и он спрятался в дом, показав (сложенные ладони к уху): буду спать! — проверка: свет включался, водопровод подавал воду, напор средний, но быстро завернул кран, чтобы не вытекало, открыл шкаф из массива, добротный, но и в шкафу хлес-

тало время, он подставил трясущиеся от боли руки и с усилием удерживал против течения — быстро устанешь, нечего ждать.

Как и хотел, он остался один, как и хотел, где-то неподалеку от моря; на улице он прислушался — нет, и — нет, в духоте он не чуял даже запаха целебной воды, что спасает всех, иначе бы не стремились... Только подумал так, и ощутил плотное касание морского ветра, и понял, куда идти; спешил, придерживая локтем больной бок, в ту сторону. Далеко впереди по горам змеей поднималась дорога, обозначенная дрожащими парными огоньками, на небе сияла необыкновенно ярким и чистым светом звезда, а под ней — вдруг он заметил — на вершине невидимой горы — горел крест.

Шел долго, но уверенно, словно бывал и в памяти отложилось, и шел еще долго после того, как на повороте справа и внизу открылась пустота, по которой полз паром в сторону Афин, разукрашенный гирляндами, как юбилейный торт, а за ним, крадучись, потянулись и расставились цепью рыбацкие огни; он спускался к морю, жадно оглядываясь на стонущие сигналы таксистов, но нет — это чайки кричали так, кружась во тьме, едва различимые, как комки снега в черной воде, кружась отдельно от своих криков.

Дорога нанизала на себя заправку, часовню, дома и стала улицей, улица привела его в порт; когда ветер усилился, и в море шла трудная, передвижа-

ющая тяжести работа — в темноте качались лодки, с такой силой, что стало ясно: канаты не удержат, когда люди уснут — всё и случится, на не вышедшем в море траулере горел свет, за одним окном брился араб, за другим, побольше, четверо арабов молча сидели за столом — видимо, Евросоюз не разрешал им сходить на берег без документов. Он искал что-то последнее из необходимого этой ночью, пока не увидел зачехленный на зиму паровозик для туристов, припаркованный вдоль сквера, и обрадовался ему, как знакомому, — нашел, и переждал ночь на лавочке напротив, и, казалось, почти не спал, и видел, как в сумраке в кроссовках с прыгучими подошвами пробежали первые люди, умеющие достигать поставленных целей, перекрестившись на собор Св. Тита; слышались первые голоса — молодожены, похожие на голландцев, совсем дети, прошли вдоль моря, полоской песка потверже, взяли за руки, осматривая и запоминая навсегда просторы своего первоначального счастья и видя громады такого же счастья в будущем, в это будущее единым взмахом бросили монетки — он зажмурился; летели самолеты — на запад; прошли две цыганки в одинаковых кофтах до колен, резиновые тапки на шерстяные носки — на него не обернулись; в порт плыл паром из Афин — всходило солнце, выкатывалось, еще не распустив лучи, паром грустно загудел, но совсем разбудила его музыка — три старика заиграли для прохожих у фонтана, где

сходились дорожки, один — на баяне, второй — на местном струнном с длинным грифом, третий дул в волынку — музыка без слов, а потом один из стариков запел, в песне упоминались, конечно же, губительные черные глаза — мавроматья...

Его атаковали кошки, требовательно терлись о ноги, тыкались под колени, это их место, если сел — плати, — он неожиданно для себя рассмеялся и почувствовал «почти счастлив», сейчас позвонит риелтор, или после обеда, если поздно легла.

Он направился по сырой траве к морю и вдруг дико подпрыгнул и простонал, обнаружив у ног тонкое струение змеи с темным узором по зеленой спине, и бегом вернулся на брусчатку и в свое — истинное — месторасположение, оглянулся: змея поднималась изгибом на шершавое, как слоночья кожа, подножие пальмы — не так.

Ветер подгонял к берегу мутные волны, насыщенные песком, болтая туда-сюда белыми пакетами и вывернутыми локтями и коленями желтых веток или корней, каймой выложив нанесенные водоросли, — и море не такое.

Найти место без грязи и змей, здесь обещали пляжи под голубыми флагами. Мимо серьезных людей, толпившихся у букмекерской конторы, мимо рынка, где страшно кричали продавцы мидий и безмолвствовали продавцы самогона — такого чистого, что батареи бутылок с этикеткой 47% казались пустыми; припекало солнце, и чудными ка-

зались местные встречные в теплых куртках с поднятыми капюшонами, из константинопольских автобусов высаживались последние отряды туристов, немцы (ни одного похожего на Гитлера и Геринга) и малорослые азиаты брели за поднятыми зонтиками добродушных и вороватых турецких гидов; скоро уедут, и он останется среди теней тех, кто сюда приезжает летом.

За накренившейся кормой корабля, с которого экскаватором выгружали песок, он увидел старика, запустившего в море игрушечную яхту — яхта описывала простейшие круги, повинувась радиосигналу, но для верности была привязана леской к мотороллеру — скорее всего, старик не продавал, а доставлял себе удовольствие.

Кончился бетон, и по гальке он прошел верфь, где на скрепленных ржавыми болтами доисторических деревянных лыжах стояли рыбацкие лодки и яхты, и наконец ступил на песок, читая следы. Судя по следам, незадолго до него здесь гулял одноногий мальчик, трехметровыми прыжками, отталкиваясь левой ногой; городской пляж он опознал по укоряющему плакату с таблицей бесследного исчезновения всего. Газета бесследно растворяется в природе за два месяца. Пивную банку ржавчина дожирает двести лет. Пластиковый пакет — пятьсот лет. Рождество Христово, дорогие радиослушатели, находится от нас на расстоянии четырех пластиковых пакетов «Азбуки вкуса».

Усталость. Он забрался отдохнуть и погреться на каменную глыбу, рассматривал: меж камнями бьет-ся вода, снял свитер и сторожил: не продует мокрую спину? Не хотелось бы простывать. И улыбался подрагивающими губами. Огибая выброшенные и разодранные диваны и холмы песка, на пляж выехала недорогая серебристая машина. Из нее выбрались парень с очень худой девушкой постарше и выше. Девушка держала кота на руках. Он, боясь пропустить начало, долго ждал, когда они начнут трахаться или душить кота. Но ничего не происходило. Просто разговаривали, поглядывая на него.

Он сказал, чтобы услышать чей-то голос:

— Надо поесть.

Ничего не попадалось, все пьют кофе, на каждом углу играют в нарды, одинаково подперев голову рукой, словно болят зубы; как спросить: где я могу завтракать, обедать? Но что это — он удивленно остановился: на угловом доме меж греческих флажков, похожих на клочки тельняшки, главным повис российский флаг — а под ним, расположившись на террасе, подстриженный под седого фельдмаршала краснолицый господин в бархатном пиджаке, опаленном малиновым шейным платком, развлекал собравшееся общество из двух старух, подростка и собаки в ошейнике доскональным воспроизводством резкого звука откупориваемой бутылки с помощью указательного пальца и напряженной щеки. Несмотря на то что сам звук, собст-

венный редкий талант и внимание публики доставляли ему несомненное наслаждение, господин в бархатном пиджаке сразу понял про него всё и простер руку над головами:

— Русский? Прошу.

В гостиной возле камина в низком кресле сидела маленькая усталая женщина, выводя маркером на бумаге А4 кишечные завитки. Из камина несло сыростью.

— Работаете? — спросил он. — Вы художник?

— Депрессию надо нарисовать. И потом бросить в огонь.

— Жена! — воскликнул господин. — Пять лет я ждал этого дня. Мы больше не единственные — человек решил переехать в Грецию! Много желающих, да мало избранных! Где остановились?

— Афари.

— Хорошая деревня. Поднялись на гашише. Завтра перевезу к нам, будете спать на кухне. Много не возьму — пятнадцать евро в сутки, приемлемо? Что с домом? — выслушал и рассмеялся. — Риелтор сегодня не позвонит. В Греции «позвоню завтра» означает «никогда», — снял кошку с ноги с пояснением: — Она у меня флегматик. Риелторы здесь орлы — не пнешь, не полетит! Лени-и-вые... Объекты дешевле полумиллиона их не интересуют, — подскочил и маятником прошелся. — Да вы за свои восемьдесят тысяч евро!!! — потряс воздетыми руками, — получите муки выбора! Дом сто квадратов,

участок, бассейн и козье стадо! А козье молоко в два раза дороже коровьего! Друзья нам помогут.

Его жена бросила листок в камин и, нервно задрав плечи, прошла на кухню.

— Мы здесь счастливы! — господин воскликнул, словно не ему, а жене, и потише продолжил: — Если бы не зима. И кризис. Дом наш дешевет и дешевет. Продать — не-воз-мож-но...

— Зато море.

— Да вот оно! До хорошего пляжа — сорок минут. На машине.

— В прошлом году ездили, на неделю, — подтвердила будто бы плачущая жена сквозь салфетку или полотенце.

— Вы хотели покушать? Вперед! — господин накинул пальто. — Морепродукты или мясо?

Жена неожиданно громко воскликнула:

— Не давайте ему заходить в бар! Ну пожалуйста!

На улице господин прошептал, озираясь на окна:

— Она у меня флегма. Единственный недостаток — родственники. Жениться надо на бездетной детдомовке. Чтобы никто не тянул из дяди Вити евро.

— Почему вы уехали?

— Потому что ненавижу грязь, хамство и злость во взгляде каждого прохожего. И устал бояться. Каждый день жить в страхе, что придет Путин и всё отберет.

— У вас был бизнес?

— Продажа ортопедических матрасов в Воронеже. Входил в пятерку крупнейших по этой теме. Всё продал и положил на депозит. Рассчитал: процентов мне хватит. Но я плохо посчитал... Так, мне требуется восстановить силы, — господин толкнул неприметную дверь с небольшим мутным окошком, и они оказались в грохоте музыки, гвалте и дыму — баре, набитом молодежью и красивыми курящими женщинами средних лет. — Эй, малый, — официант нашел им столик, — сделай мне на два пальца узо, всё остальное — апельсиновый сок из коробки, — господин со злостью огляделся и, никого не стесняясь, процедил: — У-у-у, дармоеды! Кризис — а никто не работает! С двенадцати часов уже все сидят в кафенио или бараки и пьют. Молодежь по пятнадцать лет учится на архитекторов и адвокатов, а работать ни один не пойдет. Работают только албанцы, цыгане да болгары. Кризис! Деньги все прожрали. Но жрали все! Знаешь, чем отличается Россия от Греции?

Скажи.

— Здесь обнаружили, что в больнице, в которой не было сада, числилось двадцать садовников. В России бы эти деньги украли бы главврач и главбух. А здесь — двадцать человек приходили и получали зарплату. Здесь работают таксистами, оформив инвалидность по зрению. Здесь получают пенсии за стариков, похороненных пять лет назад. Все прикидываются бедными, внаглую ничего не пла-

тят, обложились справками и бумагами, а я — ксе-нос, я так не могу! — кивнул официанту: — Повтори. На три пальца узо.

— А чем русские отличаются от греков?

— Я чувствую, что я — круче всех и любому дам в морду! Греки вот так дерутся, — он поднялся и свободно, словно они были в чистом поле — одни, показал, как, подпрыгивая, сходясь и расходясь, легонько сшибаются грудью в грудь петухи, и с сожалением вернулся за стол. — Но здесь нельзя, понимаешь, ни на кого руку поднять, сразу — полиция, суд... Отопление, конечно, дорого обходится. Солярки сжирает на двести евро в месяц. Утеплит фасад, но результата пока не заметил. Думаю электрокотел поставить, но работа знаешь какая дорогая? А бензин шестьдесят восемь рублей литр?

— А где здесь кладбище?

— И за кладбище дерут — двадцать евро! Но главное — солярка. И зима. Такая зима... — он зажмурился, — все разъезжаются, и живешь, как в Чернобыле... Так, не надо их баловать! — ловким движением господин забрал оставленные им чаевые и поместил на хранение в свой брючный карман.

Даже жарко; лавочки, кресла и диванчики на набережной заполнили счастливые люди.

— А в Москве минус двенадцать.

— Зато солярку не надо оплачивать, — мрачно заметил господин, но потом что-то вспомнил и повел расставленными, словно для объятия, руками

вокруг: — Как красиво у нас! Самый красивый город в Греции! Нигде нет такой красоты!

Он постеснялся сказать, что в каждом греческом городе видел всё это: турецкая (венецианская) крепость на горе, старый город вокруг остатков византийских стен, здание арсенала, археологический музей в коробке из-под обуви, фотограф с парой попугаев, заботливо чистящих друг другу перья, — идеал супружеской любви, мечеть на древнехристианском фундаменте, рыбацкие лодки, выдающиеся физиогномисты и полиглоты на входе в рестораны, зазывающие туристов на всех языках мира, — распорядитель ресторана у фонтана Морозини еще издали обрадованно махал им рукою так, словно они здесь обедали раз в неделю: вот ваш столик; они опустили под облако лаврового дерева, заполненного пернатым гомоном и шуршащими перелетками. Фонтан окружали рестораны, густо усаженные немецкими пенсионерками — они сидели по-птичьему неподвижно и молча, поблескивая очками, редко и резко поворачивая головы. Ели только греческий салат, пригубливая из толстостенных стаканов дармовой напиток от заведения.

Сильный, но жаркий ветер трепал и заворачивал уголок меню и теребил волосы на затылке.

— Бутылку узо! — господин осторожно выглянул поверх развернутого меню. — Вкусная рыба барабулька. Но дорогая. Раз в год могу себе позволить.

— Закажите себе, пожалуйста.

— Тогда я на свой вкус.

Он всё оборачивался радостно на море, вот оно — повсюду, всё заканчивалось, и больше он не спешил; показал «нет-нет» старику, предлагавшему лотерейные билеты. Далеко, а всё равно кажется — просто отдаленный район Москвы, где он редко бывает. Лишь бы с каждым днем так не казалось больше и больше.

Господин с удовольствием наполнил рюмку и отрекомендовал местную водку:

— Понюхайте. Как?

— Не знаю чем. Как лекарство.

— Пахнет анисом! А местные пьют самогон. Официально — из винограда, а по правде — из всего, что грек найдет утром под деревом. И почему не спиваются... Целыми днями пьют! А я, — налил еще и показал на бутылку, — погибаю, — вытер глаза и с притворным радушием поприветствовал знакомого официанта, — ограниченный народ. Женщины говорят только: сегодня сготовила то-то, завтра буду готовить то-то. Мужчины: сегодня вот что сожрал и что завтра буду жрать. Или кого трахнул. Но здесь с этим не очень, — и в задумчивости уставился на пожилую туристку с ногами, скрученными из дряблых канатов: она подошла к официанту, тронула его руку, погладила и пощекотала рубашку на груди в том месте, где, по ее расчетам, располагался сосок.

Еда.

— Так, барабулечку мне. Вам ципура — это как дорадо, только в два раза дороже. Потому что растет в диких условиях. Это баклажаны, а это такие вот кабачки. Это что-то вроде местного йогурта с огурцами и чесноком. А это вам травка — дикая трава, растет высоко в горах. Особые люди собирают. Ее кушают с рыбой. Я попросил, вам ее заправили свежим оливковым маслом и солью. Она выводит холестерин.

Ничего из того, что он мог бы съесть. Только толстые ломти мягкого хлеба.

— Не нравится? Тогда скажу, чтобы мне завернули с собой, — себе господин заказал еще огромную котлету, накрытую папахой из сметаны или чего-то похожего на сметану, и в конце обеда так уморился, что еле жевал, вздыхая и держа руку на животе. — Всё здесь вкуснее. И свинина. Я уже молчу про козлятину. По картошке только ску чаю... — бормотал, ослабляя ремень, — друзья помогут найти дом. Заживем. А настанет зима, вместе будем выть. Взойдет луна, мы сядем и завоем. Будем с тобой выть!!! Зимой — не-вы-но-си-мо. А зима — уже совсем скоро, бак для солярки должен быть полон.

Улицами старого города они взобрались на холм, и он оплатил билеты за осмотр крепости. Внутри валялись пушки, похожие на отрубленные пальцы. Кусты и даже деревья карабкались на стены быв-

шей тюрьмы. В углу казармы сложили ядра. Больше нечего смотреть.

По неогороженным ступенькам они полезли на стену, чтобы выглянуть меж зубцов. Здесь, наверху, ветер уже не задувал, а бил — повалив рекламный плакат, поднял и погнал пыль меж пиний или чего-то такого же — вечнозеленого, они поднимались не шагами, а прыжками, потому что одновременно проваливалась в ров земля, он уже хватался за стены и ненадежные колючие заросли, чтобы не снесло ветром, зачем мы сюда, а господин, покачивая пакетом с едой, весело учил:

— Правило в жизни простое. Никогда не отрывай вторую ногу, если крепко не поставил первую. Вот! — сияющее море простиралось повсюду, катились длинные волны, украшающие себя пенными гребнями задолго до берега. Небольшие облачка быстро проходили по небу, и было видно, как скользит по земле их тень. — Видишь? — в дымке поднималась гора. — Это же Афон. А до него — сто километров! А вот здесь высадился апостол Павел, когда ему во сне явился муж в македонской одежде и попросил: приди к нам, — пальто господина распахнул ветер, в кармане торчала захваченная из ресторана бутылка водки, речь его расплывалась, как чернильная надпись под каплями воды, господин смотрел слезящимися глазами на север и кому-то кричал: — Дальше — без меня! Понятно? Дальше — без меня!

— Еще гостиница для дервишей есть, — господин звонил, отвечал на звонки («Ничего я не пил, мы же по горам лазим!»), — и памятник основателю египетской династии можно осмотреть... Но пора чуть-чуть пополнить мои силы, — и они зашли в бар, примечательный глыбой базальта, торчащей из стены, и гирляндой клеток с канарейками.

— А напротив — гимназия, бывшее здание болгарского гестапо, где убивали греков. А вот мои друзья — хотят с тобой познакомиться.

За столиком у подоконника, украшенного старой швейной машинкой и утюгом, расположились трое грузин или греков, похожих на грузин. Веселый и ласковый, с танцующими пальцами. Еще один — с избыточной телесной массой, настолько погруженный в мышцы и жир, что смотрел на мир из собственной глубины, иногда в ней совсем утопая. И беспокойный — опухшие веки его берегли глаза, перенапряженные сдерживанием каменного, постоянно сползающего лба.

Господин что-то показывал им украдкой из-за его спины.

— Мы друзья, — начал большой, — мы не такие, как турки, которые всюду ищут выгоду: деньги, деньги... Не такие, как немцы — холодные, сразу прячутся в раковину и думают, что мы их будем обманывать. Мы — прямые. Не такие, как местные, которые, — он тяжело поднял и чуть скрючил

руку, — всё время, понимаешь, с каким-то поворотом... Найдем хороший дом, подешевле.

— И гражданство можно, — добавил беспокойный, — где-то пятьдесят тысяч еврО будет стоить.

— Мы все из России, — сказал ласковый, — деньги хорошие делали, а когда нельзя стало деньги хорошие делать — сюда переехали. Моя жена до сих пор скучает. Она в «Детском мире» на Лубянке работала, деньги хорошие делала. Я говорю: не скучай, ты сейчас там не сможешь деньги хорошие делать.

— Знакомства у нас во всех сферах, от... — большой показал распухшим пальцем на небо, — до хулиганов.

— Послушай, брат, — ничего, что я тебя так называю? — беспокойный потрогал плечо человека ледяной рукой. — Я недавно был в России. Там мне были деньги должны. Там, — всплеснул руками, — ничего не изменилось! Школа моя стоит такая же облезлая. Я приготовил пятьсот еврО, думаю, директор попросит, я дам: на, покрась. Но он такой, знаешь, — беспокойный изобразил задом танцующее движение, сотрясая стул, — ничего мне не сказал.

— Но мы хотим тебе по жизни серьезно помочь, брат, — большой сжал и разжал кулак, явно радуясь, что сигналы мозга еще преодолевают слои жира и мышцы послушны ему. — На Тасосе, здесь остров есть — Тасос, продают очень хорошую гости-

ницу на самом берегу. Продают три брата. Они уже стареют, не хотят, чтобы дети-внуки ссорились: эй, а какая твоя доля?! а моя такая доля! — зачем? Гостиница — чудо! Собственный пляж. Все хотят купить. Немец один приезжал, как увидел — всё продаю и куплю! Загорелся. Из Волгограда один. Тоже очень хочет. Но мы хотим тебе помочь и уговорим, чтобы продали тебе. Такая там красота: сосновый лес, белый песок, море... — большой попытался причмокиванием дать более полное впечатление, но понял: недостаточно, — завтра поплывем, ты сам должен увидеть.

— И самое главное: англичане на два года вперед выкупили все номера. Два года будут туристы, — ласковый сам удивлялся: он никогда не думал, что так бывает. — Ничего делать не надо, — он завалился на бок, приоткрыл рот и сонно подкатил глаза, показывая человека, которому в рот с расположенной над ним ветви сочится густая, сладостная жижа, — только получать. Как все хотят. Ты скажешь: я вас не знаю...

— Я вас очень хорошо знаю, — сказал он, — я вас много раз видел и всё знаю про вас.

Друзья зависли на долгое мгновение. Потом по очереди переглянулись, словно из глаз в глаза перепрыгивал небольшой зверек, поглядели человеку за спину, где должен был размещаться господин, но там, похоже, никого не было.

— Э-э, — сказал большой, — м-м-м...

— Может быть, в аэропорту? — беспокойный из последних сил удерживал чернеющими веками лоб. — В какой период?

— Если ты имеешь в виду, — большой все-таки поднялся на поверхность, — тот период, когда все мы как-то пробивались по жизни... То что касается меня, то это была — чисто милицейская подстава. Провокация. Особенно второй раз. С той, что якобы было четырнадцать лет..

— Ррр-рры!!!! Р-р-р-ры! Ррррррр-рры!!!!

Все вздрогнули: господин, нацепив маскарадную медвежью голову, вдруг выскочил на середину бара и рычал, ревел, расставив лапы, косолапил и приседал:

— Р-р-ры-ы!!! — что-то почуяв, оборвал себя, сдвинул медвежью личину на затылок жестом хоккейного вратаря, открыв багровое лицо. — Это я пошутил. В плане юмора. Мы же медведи. Давид, ты же не обиделся? Коста!

Он поднялся, вышел на улицу. Сначала он спустился к порту мимо парикмахерской, кофеен, кошек, ждущих подачек у рыбных ресторанов и пустых магазинов, — после обеда всё вымирает, он про это читал. Но от подножия горы, застроенной старым городом, повернул не направо — в порт и на набережную, а налево, под обрыв, вспугнув галок, заселивших крепостную стену.

За стройплощадкой (плитами укрепляли пирс) он нашел дорожку, вырубленную в скале для тури-

стов, и двинулся по ней: сперва чуть вверх, а потом — ниже и ниже; пахло жаркой травой, летали бабочки на расписных крылах, исчезая всякий раз, когда он доставал айфон, чтобы сфотографировать, чтобы переслать никому, — море другое здесь, синее, как небо, как будет летом, когда пройдет зима, что ему предстоит; дорожка кончилась у плоского камня, дальше все желающие могли прыгать с глыбы на глыбу у самой воды, спасаясь от брызг, дальше глыбы поднимались, и дорожка возобновлялась, даже с железными поручнями, помогая обойти гору вокруг и закончить прогулку примерно в том же...

Ровно посередине — на косо легшей до самой воды плите — он остановился.

Но не успел сказать: «Всё равно, жалко будет уезжать», потому что заметил на камне горку снятой одежды и спортивные тапочки. В море спокойно плавала женщина. Вот сейчас обернулась и смотрела на него.

Наверное, гречанка. Если гречанке не холодно, то уж ему-то. Он и на Балтике, и в океане... Это у них зима, для русских — это самое настоящее лето!

Он отошел чуть в сторону, чтобы женщина не волновалась за свое добро, разулся и потрогал ногой воду: а ничего вода, даже теплая. Вода, это все знают, нагревается медленней воздуха, но и намного медленней отдает тепло.

Главное, быстро раздеться и пулей уйти. Побросав одежду, дрожа от паскудного ветра, он скорей-

скорей спустился к воде, больно спотыкаясь о гальку, и, вздохнув, вывернувшись до самых гниющих внутренностей, бросился в воду, обезумев от холода, с ревом вынырнул и поплыл, забил руками, ногами, цепляясь за тепло и победно, вертанувшись с живота на спину и обратно, написав никому «а я сегодня купался», — женщина оказалась рядом, приветливо улыбнулась, как равному, их поднимала одна волна, он увидел, как буйками колышутся ее груди — вода соединила их странной, возбуждающей близостью, словно они больше, чем обнялись... Женщина тоже почувствовала это, и, неловко улыбнувшись, отплыла чуть в сторону, и, запрокинув лицо, посмотрела на солнце, и он также лег на воду и посмотрел на то, что никогда нельзя увидеть до конца, — в слепящее; и быстро поплыл в сторону Афона.

Гипноз

Бывшая медсестра детского сада жила в среднем из домов, построенных отделением железной дороги. Три серых четырехэтажки с подвалами, печными трубами и большими квадратными окнами стояли вдоль Комсомольской между бывшим Дворцом пионеров, бывшим кинотеатром «Восход», переделанным в церковь, напротив дома малютки, где растили сирот, пока этот дом с мезонином не заметил, выбрал, перепрофилировал, отселил, поджег, потушил, выставил на продажу по остаточной стоимости и выкупил бывший мэр.

Казалось: не на что жаловаться — все сверстницы и подруги уже поумирали или в грязных посте-

лях лежат, онемев, не зная, дадут им сегодня чего поесть? — а она, хоть и с палочкой, но своими ногами ходит до рынка и ездит на маршрутке в магазин низких цен.

И ночами, пытаясь уснуть без таблетки, она не жаловалась, а только жалела: напрасно, зря, зачем же столько боялась будущего? Нужно было беззаботно и радостно жить. А она всё боялась, и боялась — не того! Боялась времени, когда вырастут и разъедутся дети. С мужем они так привыкли к взгляду друг на друга сквозь вечернюю усталость над головами спящих детей, что ее страшило остаться вдвоем: а вдруг там, без детей, между ними уже ничего не осталось, пустота, и жить будет нечем?

Зря боялась — никакой пустоты: когда уехали дети, муж заболел (полный ответ всем: «онкология»), она узнала, что ад существует, для некоторых людей (и для нее) ад начинается уже на земле, и как счастливых влюбленных людей постоянно окружает невидимое пушистое сияние, так и люди, попавшие в ад, каждое утро просыпаются в объятиях невидимого раскаленного гроба и так привыкают к мукам, что продолжают различать вкус продуктов и даже находят поводы раздвинуть щеки улыбкой, и таких людей много: ад располагается в семьях, отдельных зданиях, поселениями в долинах, куда обычные люди забредают только по ошибке, целый народ, пораньше других ушедший из жизни, где имеет значение цветение яблонь, — мате-

ри безумцев и маленьких инвалидов, уроды, калеки, ухаживающие за лежачими, приговоренные, сознающие свое разрушение и уход, не нашедшие денег глушить ежедневную боль, похоронившие ребенка, забытые детьми, потерявшие смысл.

Мужу сделали операцию и отпустили домой, он начал слабеть так, что упал на улице, сдавали анализы: низкий гемоглобин, почему-то у вас низкий гемоглобин. Хирург не хотел встречаться, мужа ее не помнил, но в коридоре взял все-таки в руки листок с анализами:

— Если слабость, разбираться надо с причинами. Да нет, с операцией это не может быть связано. Берите направление, везите его в Тулу, в гематологический центр.

— А кто мне даст направление? Как же я доведу его в Тулу?

Хирург пожал плечами, его отвлек звонок; хирурга все хвалили, но он был устроен как автомат: включался и различал людей, когда в прорезь подавали деньги — у нее столько не было.

Она поднимала гемоглобин гранатовым соком и медом, муж не вставал и не ел, высох, она уговаривала:

— Поешь, а то будем хоронить, все осудят: так она его не кормила!

— А ты меня поддуешь!

И засмеялись; хоронили по-старому, из дома, и попрощаться довольно много собралось людей,

и бывший начальник дистанции пути (это отметили многие) по такому морозу всё время простоял без шапки.

Муж отпустил ее из ада пожить. Сын давно утонул на подводной лодке «Курск» и вернулся домой памятной плитой со стороны улицы — она сама мыла мрамор, гранит или что там со стремянки, а летом выставляла цветы в горшках на предусмотренную полку. Дочь пылесосила с восьми до семи в московской гостинице, снимая «однушку» с двумя такими же, но очень удачно — не видятся, все в разные смены. На непривычной свободе зажила она телепрограммой — жизнью «звезд», всех знала и многих жалела — так старались «звезды» ее порадовать, а у самих в личной жизни как-то всё не ладилось, одна нервотрепка, суетятся, суетятся, то с тем, то с другим, а личного счастья так всё и нет — радовалась за себя: а вот у нее спокойствие, всё определилось, бояться нечего — и опять ошиблась!

Дура, столько ночей боялась того, чего не будет, и такая ж дура, что теперь белым днем ходила без страха, хотя и замечала: жизнь другая. Город заселили черные, это произошло постепенно и началось давно, но, проживая в аду, она покидала квартиру на небольшое определенное время, слепая от постоянного гнета, а теперь, когда вернули время целиком, она и заметила, что с юга пришел и обжился в подвалах ее города смуглый народ, разделенный на племена: племя укладчиков асфальта,

племя немых уборщиц, племя дворников, племя заправщиков на бензоколонках, племя узкоглазых девочек в аптеках и сбербанке, племя продавщиц в платках, племя строителей и самое опасное — шепчущееся и перемещающееся стайками племя непонятно чем занимающихся и непонятно на что живущих парней в спортивных куртках; черные пришли навсегда, вместо нынешних; нынешние учились различать: если толстая шея — это киргиз, а у таджиков большие глаза, — и чувствовали себя гостями.

Черные ее не замечали — ползает старуха... Чудно ходить по рынку: галдят — ни слова не понимаешь, всюду одна, двух слов не с кем. Она и не замечала, как что-то огромное, состоящее из немигающих глаз, сплошное окружает ее, втягивает в середину и — сомкнулось!

Весело ее окликнули:

— Как ваше здоровье, бабушка?! — два румяных парня в белых рубашках с круглыми значками, они держали клеенчатые сумки в руках. — Как же вам повезло, что мы именно вас встретили! Открывается новый магазин, и — всем подарки! Вам уют! — говорили наперебой, как артисты, и так радовались за нее — сынки мои, — что и она обрадовалась, дала им две тысячи, так полагалось, оказывается, если тебе дорогое дарят, и потащила яркую коробку домой, посмеиваясь: на старости повезло... Деду бы рассказать!

Утюг оказался таким ладным — небольшой и легкий, игрушечка! И без провода. Провод где-то отдельно...

Вот почему легкий, она заметила — пластмассовое дно.

Такие, наверное, теперь делают...

— Такие делают теперь, — повторила она вслух, уже догадавшись: обманули ее ребята.

Да понятно. Как же поддалась — она ведь помнит «после войны», тогда часто обманывали. Просто отвыкла. И расслабилась от старости.

Соседи ахали: как же вы поймались, это известное, это давно, есть еще много таких же, известных, не плачьте, и молодые ловятся, к известным всё время добавляются мудреные, неожиданные неизвестные — не спастись, каждому суждено: в седьмом доме, ветеран санэпидстанции, ходит вот так, бочком, — так к нему, двое представительных, мы из службы социальной защиты, удостоверения, в Российской Федерации начат обмен денег, для удобства и безопасности пенсионерам меняем на дому, все имеющиеся средства — он им вынес все имеющиеся средства, забрали, поднялись и ушли; да, всё поняла и буду осторожней, но три дня она еще носила обратно запакованный утюг по той улице, и потом — всегда ходила той улицей, высматривая румяных ребят, мечтая: вы же ошиблись; и они: да мы и сами уже поняли, замучились вас искать. Они же были в белых рубашках!

Многое значили белые рубашки для русской старухи 1934 года рождения; значили — всё! Отец ее умирал спокойным: смог прокормить, и дети в школу первого сентября шли в белых рубашках!

Всё поняла: кроме племен черных, город затопили охотники за деньгами стариков, охотники за жизнями стариков, так много, что теперь казалось — почти все вокруг; им всё помогало: погода, почтальоны, запорные устройства на подъездах, новости в телевизоре, телесная немощь, бесплатные газеты, слабый ум стариков, их прошлое, расположение клавиш доступа на душах, — казалось: это не только люди, это что-то большее, это вся жизнь так устроилась, вся жизнь теперь только для того, чтобы старики отдали последнее дважды: сперва своими руками — деньги, а уж потом — передохли.

Озверевшая жизнь знала про нее — сколько пенсия, сколько тратит, сколько оставил муж. И остальное могли узнать, но интересовали только деньги. Стены квартиры и стены дома оказались стеклянными, она жила на виду. Чуть успокаивалась только в темноте. Хотя понимала — они не спят, планируют, «как будем завтра», сидят в белых рубашках за длинным столом или кричат хором, чтобы настроиться на победу, — она жалела не деньги. Больше — оказалось: не верь никому. Протянутая рука или доброе слово любого, кто поможе, человека из будущего (от будущего, от науки

она привыкла ждать только хорошее — вот и отвыкай!) — обман. Она училась распознавать, но когда получалось — ни азарта, ни радости, «увернулась», а только горечь и страх нового дня — когда-то ведь обязательно наступит ее тот самый день.

Поднималось невидимое солнце, и начиналось: она, не читая, стирала смс-ки «Мам, кинь денег на этот номер, потом объясню...», «Помогите, умирает ребенок», «Поздравляем, вы выиграли!», «Срочно звони на номер...», «На ваш счет зачислены...», «ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ», «Пришли свой ответ и выиграй 1 000 000», «Положил по ошибке 300 р. на ваш телефон, верните, пожалуйста», «Спешите принять участие», «Вы стали обладателем» и...

Вытряхивала из газет, как наползших за ночь насекомых, грозные конверты с государственными гербами, шершавые конверты с клеймом «Время чудес», листовки «Пенсионерам — бесплатно», купоны на скидку 90%, приглашения «консультация бесплатно», «диагностика бесплатно», «подбор бесплатно» — зубы, глаза, волосы, кибернетическая диагностика, заговор, КПРФ, шлаки, заставьте свои деньги работать, уход за наследование квартиры, «Единая Россия», вывод токсинов, чудо-фильтры, бриллианты в подарок и...

Заранее опустив глаза, склеив губы, набрав нужную скорость хода (мало не отвечать, главное — не останавливаться и закричать, если схватят за руку, двигаться, так и врач ей говорил — движение, хо-

тя и врач был, как теперь она понимала, из этих), выходила она за едой и подышать, мимо:

— Доброго вам дня! Извините, что вас задерживаю. Не могли бы вы помочь в нашем затруднении?

Смотрела только под ноги.

— Мы вон там стоим на повороте, кончился бензин. Не могли бы вы добавить нам на заправку?

Мимо, мимо; раньше она переживала из-за своей палки, теперь радовалась — оружие!

— Нам в Бобрик-Донской ехать.

Последний гвоздик они всегда заколачивали в сердце:

— Такой мороз, а в машине двое детей.

Парень с подбитым глазом не давал зайти на базар:

— Четверо напали. Деньги отняли. Телефон отняли. В милиции был. У начальника вокзала был. Мне бы только билет купить до детдома в Новосибирске! — И добавил с угрозой: — Христа ради! — И прошипел в спину: — О себе только думаешь?! — но не ударил; а на рынке — уже не только ей, как бы всем, но получалось — особенно ей — предлагал, хмурый и растерянный:

— Я проездом, в аварию попал. Деньги нужны. Ничего нет, вот — только золотые сережки матери. Может, кто возьмет за полцены?

Такие сережки она уже покупала, для дочери — ювелир посмотрел на них, капнул чем-то и молча выбросил в урну.

Не останавливалась, дальше; пристроилась женщина, со стороны глянешь — две подружки гуляют, женщина шептала:

— Сама я — бывшая проводница, железнодорожник, как ваш супруг. Царствие ему небесное! Напали на моего мужа грабители. Вот — заявление в милицию. Били молотком по голове. Вот — медицинская справка. А один анализ стоит — восемьсот рублей! Вот — чек...

Гуляла, врач же сказал: без движения вы погибнете, — сколько могла вытерпеть, и ползла, израненная, назад, принося домой новую грязь.

Нет, она не сомневалась: всё — злой обман, но всё равно — стыдилась. Обман выглядел как правда. И эта «как правда» хоть и не была, но всё же царапала ее, пачкала и уменьшала. У нее не было ненависти к жизни, а только растерянность. Не готова. Не думала, что когда-нибудь будет так.

Она возвращалась в самое страшное время, когда сильные расходились по работам, развезя по садам и школам детей, и в прозрачных домах оставались одни старики.

Сразу в подъезд не пошла, постояла на углу, повторяя: «Я не здесь живу. Просто жду знакомую», пока не отвязался представительный мужчина с невероятно белыми зубами, предлагавший бесплатно проверить качество воды из крана, а уже потом, оглядевшись, быстро вошла в дом и, прежде чем открыть квартиру, послушала над лестницей — не поднимается кто следом?

Зазвонил городской, она громко ответила:

— Спасибо, не надо! — на:

— Поздравляю, ваш телефонный номер выиграл...

Отнесла сумки на кухню, позвонили опять, уже по имени-отчеству:

— Это служба проверки выдачи подарков, — а голос тот же самый, — я должна проверить: вы действительно? — сказали нашему оператору, что отказываетесь от приза на сумму в две тысячи евро и бесплатного отдыха в Испании, для чего нужно всего лишь подъехать в наш офис и предъявить паспорт?! Или наш оператор обманывает руководство? Две тысячи евро! У нас первый случай отказа! Чтобы оформить отказ, вам придется подъехать в наш офис с паспортом сегодня до двадцати часов!

Они позвонили еще, но оказалось — не они:

— Из Москвы вас побеспокоили. Швейцарский медицинский центр. Немецкие врачи, в общем, провели по телефонной линии диагностику вашего организма, — говорили откуда-то сблизы, как из соседней квартиры, там заплакал ребенок, и говорившая женщина отвлеклась его подкачать.

Она даже рассмеялась:

— Как это — по телефону?

Там перевернули страницу:

— Сахар — больше девяти. Имеется? Имеется. Ноги отекают. При ходьбе без опоры ведет вправо, головокружение ежедневно в течение двух-трех часов. Соответствует?

Она кивнула, растирая висок, они же видели ее: да.

Ее медицинская карта!

— Изжога. Но главный момент, конечно, стенокардия. Шишка на шее — не страшно, а вот стенокардия... Неприятный, конечно, прогноз — ухудшение через две недели, вплоть до... Ну, вы понимаете. Желание жить имеется? Громче говорите! Есть, короче, английский препарат, который гарантированно излечит. И намного дешевле, чем в аптеках, потому что поставочка у нас прямая. Но он последний, из последней партии. Следующая будет через год. Я откладываю для вас? Откладываю. Курьер доставит завтра в обед. Полный курс, на весь курс, так... Сколько это... Идите сделайте перевод, запишите — Гриценко Тамаре... Двенадцать тысяч четыреста. Но — строго сегодня.

— У меня столько нет, — почему-то она заплакала, горбясь на диване.

Там помолчали и:

— Как это? Вы вчера с карточки сняли двенадцать тысяч, — и раздраженно: — Они же не могли за день разойтись?

— Я не знаю, как перевод. Приедет дочь...

— Так дочь приедет только в субботу, препарат уйдет, — там прикрыли трубку и крикнули: «Убавь газ!!!», — берешь двенадцать четыреста, идешь в сбербанк, к тебе ближайший — Березовая, 8, — там девочки помогут с переводом — строго до восемнадцати! Не откладывай: подымайся и иди!

Вскочила и пошла. Потому что звонили в дверь. Для ускорения пришли за деньгами сами. Но телефонную трубку взяла с собой. Вдруг, даже увидев, они продолжают говорить с ней по телефону. У них на каждый шаг — свое правило. Из тех, что она поняла, — нельзя душить руками за шею. Нужна добровольность.

Но за дверью (она отворила, как всегда, — на недоброжелательную, опасливую щель — на один глаз).

Но там. На лестничной клетке, которую она мыла в свою очередь, молча стояла женщина с девочкой лет четырех.

Это ничего. Девочка, казалось ей потом, сама по себе не сыграла. Всё произошло потому, что женщина выглядела богатой. Белая куртка, сапоги. Шапочка такая в руке. И девочку женщина нарядила богато — мех на капюшоне.

— Звоню соседям, — женщина говорила как все, как русские, только чуть потягивала слова, — они хоть дома бывают?

— Не знаю, — дед умер, бабушку забрали дети в Курск, новые хозяева после ремонта пока не объявились; опять зазвонил городской.

— Договаривались квартиру посмотреть, и — никого. Трубку не берут.

— Не знаю, — она не открывала двери шире.

Но женщина и не пыталась заглядывать. А только вздохнула о потерянном времени и засунула ладонь девочке под шапку — жарко, конечно:

— Вся мокрая. А вы не знаете, в вашем доме кто-нибудь сдает?

— Я не знаю.

Девочка зевала, маялась, приваливаясь к матери то боком, то спиной, то обхватывала за ногу.

— Ну, извините, — но успела, пока дверь не закрылась совсем: — Вы не могли бы — ребенку попить?

Это раньше могло сыграть, не теперь.

— Подождите здесь, — прикрыла дверь, пошла на кухню, откладывая на потом мысль: удивительно даже, состоятельные и молодые из-под крана теперь и не пьют, всё какие-то фильтры и бутылки.

Достала белую чашку, из тех, что дарили на шестьдесят лет, — ни разу еще не пользовалась — и оторопела: женщина с ребенком уже стояли на кухне, прямо за ее спиной.

Она словно упала и разбилась на куски. Неожиданно.

Как же получилось? Понятно, как получилось: девочка побежала следом, ей не объяснишь, и матери пришлось — за ней... Но — как быстро они. И — вот, что ее разбило: девочка и мать успели разуться.

— Одна живете? — женщина ничего не объясняла, всё шло, как шло. — А дедушка ваш где? Скоро придет? Сейчас, сейчас даст тебе бабушка водички. Слейте побольше, чтобы не ржавая.

В голове ее зашумела еще одна, тяжелая вода.

— Можно еще? И самой пить захотелось, — женщина говорила громко, медленно, глядя ей в глаза и, наверное, чтобы развлечь девочку, размеренно постукивала ладонью о ладонь — и она до смерти будет вспоминать, что не могла почему-то шевельнуться, слова сказать не могла и подумать — так шумело в голове. — Я на рынке стою. Мне бы удобно в вашем доме снимать. Приходите на рынок. Я вам сделаю подешевле. Я сама из Болгарии. Болгарка.

Ей бы спросить: в каком ряду вы стоите? Чем торгуете? Что сделаете подешевле? Ничего не могла, женщина говорила и прихлопывала: так, так, так, а потом ударила особенно — конец!

— Пошли.

Вечером уже померила давление, выпила таблетки, погасила свет и легла, но — словно кто-то ее, сонную, повел — поднялась и, почти не открывая глаз, на ощупь, пошла в зал.

В телефонной книге — денег нет.

В обувной коробке под рецептами и хитро смятыми бумажками — денег нет.

Она не удивилась их умению мгновенно находить, всю жизнь этим занимаются, и сама она видна им насквозь, каждая мысль.

Удивлялась только себе: знала же, что придет ее день.

И жалко, конечно, что из коробки и из телефонной книги. Лучше бы, конечно, что-то одно.

За ночь еще дважды приходила в зал: точно не перекладывала? Не вывалились куда? Утром, на свету — проверить еще раз.

Искала утешения — могли и убить, если бы догадалась и вырвалась с кухни. Тот, второй (ребенок не в счет, инструменты не в счет), наверное, мужчина — мог бы и пристукнуть; слабый гнев — ишь ты, вырядилась, сапожки еще такие, да еще с ребеночком — совести нет! — мучительная обида и слезы: деньги оставил муж, деньги были его, были им, его руки — я с тобой, ощутимая забота любимого человека, думал: как ты без меня, вот, бери — продержаться хотя бы первое время, не отдавай дочери — только тебе, на твои черные дни, пусть их будет поменьше; а теперь муж окончательно умер, и она одна — окончательно; не жалко денег, повторяла она (придет же милиционер, или как там — полицейский), не жалко денег, но — с радостью вдруг поняла: найдут! И деньги вернут! Если не все, то большую часть, из обувной коробки.

Женщина ходила по подъездам, звонила в квартиры — ее видели, с ней разговаривали, ее запомнили, видели и второго, кто ходил за ней!

Если их ждала машина — машину запомнили алкоголики — они весь день сидят во дворе на ящиках на месте, где стоял когда-то доминошный стол. Всё очень легко!

И ребенок. Это очень заметно — ребенок! Просто проверить, у кого из этих есть ребенок!

И полицейский приехал именно такой, какого ждала, понимающий, Олег, без формы, но с папкой, и на поясе пистолет. Она покормила его обедом и сказала: вы прямо напоминаете мне моего сына, я же мать офицера-подводника.

Олег очень благодарил за обед, внимательно ее слушал, и записал каждое слово, и повторял «ага» с такой легкостью и удовлетворением, что стало ясно: дело простое само по себе, а для него — в особенности; у Олега, оказалось, уже двое деток и супруга не работает, она передала детям баночку малинового варенья, предлагала соления, но он объяснил: я без машины, в следующий раз, когда буду на машине, — пошел работать, она следила в окно — по квартирам пойдет или к алкоголикам; не видно — куда-то за угол.

На завтра — в неблагоприятный для страдающих кардиологическими заболеваниями день — повалил снег.

Она шла через площадь из дальней аптеки, где подешевле. И вроде не холодно, но такой пронизывающий ветер! Ползла осторожно, помня, сколько ее знакомых из телевизора слегли и погибли, сломав в преклонном возрасте шейку бедра, и — надо же! — ей навстречу из метели вышла та самая женщина! Но без ребенка. Женщина и не узнала ее — сколько таких, не запомнишь. И взялась что-то новое балаболить, но она закрыла лицо рукой, нагнулась и в сторонку, в сторонку, оберегая кар-

ман с кошельком, и сразу домой — Олегу звонить! Но — вот везение: Олег ждал ее прямо под дверью, значит, дело пошло!

Вот теперь он на машине, может взять банки, и от картошки не отказался. Но быстро, много работы, но она даже прикрикнула: без обеда не отпущу!

— Такая у тебя работа сложная, сынок. Разве можно их всех переловить?

— Хорошо, что вы это понимаете.

Олег дал ей лист бумаги, ручку, попросил принести очки и — пока обедал — продиктовал ей, как написать: денежные средства в размере, якобы похищенные у меня такого-то, были обнаружены мною такого-то, в другом месте, куда я сама поместила на сохранение и забыла.

Он куда-то позвонил узнать: так годится? — и попросил ее переписать: денежные средства, о похищении которых заявляла, как выяснилось, взяла без моего ведома моя дочь и приобрела на них продукты и предметы одежды и обуви, — вот как надо, чай пить не стал — всё, побежал.

Когда на выходные приехала дочь и начала смеяться:

— Как же ты — взяла так и написала?

Она объяснила то, что поняла:

— Он меня загипнотизировал.

За дармоедами

Чтобы видеться с сыном, я притворился болельщиком, и мы летали за нашим национальным позором, за дармоедами — сборной Российской Федерации по футболу; на море, на футбол сын соглашался (это не к бабушке нечерноземную картошку копать!), резал там своих до крови: «А я ХОЧУ с папой», и людям, прописанным в моей бывшей квартире (я их устойчиво ненавидел), приходилось капитулировать. Моря и футбола, рассчитывал я, должно хватить года на три, потом куплю мотоцикл, два мотоцикла, в худшем случае меня ждет школа паркура — будем, оттолкнувшись от вентиляционной шахты, прыгать на крышу гаража и цеп-

ляться ногтями в щели меж кирпичей. Но всё лучше, чем олимпиады по физике.

Вылет задерживали, я сортировал аптечные потроха: насморк, больно глотать, расстройство пищеварения, солнечный ожог, когда ухо болит, аллергия на цветение (страховка обнадеживала русскоязычным доктором по имени Одиссей на месте проживания, так и говорить: «Здравствуйте, Одиссей»?) — и трогал лоб задремавшему сыну: не горячий? просто жарко ему? Заболеет — больше не отпустят, «хочешь, как в прошлый раз?», «а тебе разве можно доверить ребенка?!». Болельщики — все как я: выросшие, но неповзрослевшие советские мальчишки с двойными щетинистыми подбородками и провисшими животами — дорвались: доиграть и всем показать — они кочевали, каникулярными пробежками или по-пацанячьи, «руки в карманы», косолапили меж рестораном, курительной комнатой и баром «Русские узоры», собираясь в хороводные кружки посреди «зоны вылета» и крича: «Рас-си-я! Ра! Си! Я!», потрясая сжатыми кулаками, выдувая содержимое легких в красные дудки, исторгающие гусиные пронзительные вопли — каждому горнисту дудкой бы по зубам! — с нами томила застрявшая до утра «Астана», вперед погрузилось «Душанбе» — небритое, хмурое, плохо одетое, едва ли не строем.

Нервными скачками появился вызволенный из недр кривоносый «представитель авиакомпании»

в расстегнутом кителе и, всё время пятясь, следя, чтобы хмуро-недоверчивое кольцо вокруг него не сомкнулось, повторял, убирая чернявые пряди с влажного лба:

— Через час полетим! Производится замена детали в интересах вашей безопасности. Приношу извинения от имени. Что значит «почему пьяный»? Я не пьяный. Кто сказал «пьяный»? — он взглядывался в задние ряды и поднес ко рту, словно собравшись жаловаться кому-то, черное средство связи с толстой антенной-прутиком: — Кто скажет «пьяный» — сниму с рейса!

Вход в самолет в конце раздвижной трубы напоминал вход в кинозал, стюардесса, выгнувшись, заглядывала в посадочный талон, и ладошкой указывала место, и желала «счастливого...», но не «просмотра», а «полета».

Все повалились спать, только бессонные любители виски, разлученные схемой рассадки, но упрямо срастающиеся в единое целое, как некая живучая материя, ртуть, шатались из носа в хвост и назад — в гости друг к другу, да пара умников, пошептавшись о желаемом, что «Лужок подышает», сладко называя Путина «наш старшенький», развернула «дивиди» с безмолвной рубкой, «мочиловом», как сказал бы мой сын; я пооглядывался: болельщики — люди будущего, когда уже не надо будет работать. «Болею за футбол» — лучшее оправдание любому безделию. Болеть за жизнь. Смотреть

за жизнью. Сопровождать ее. Приобретать абонементы. Постоянные перемены. И никакой окончательной победы — это самое главное. Вечная такая игрушка. И попросил стюардессу принести сыну плед, и заодно:

— Где это вы так загорели?

Она ответила:

— В солярии, — с таким страданием, словно загорала в аду.

Я смотрел на синевато-темные облака внизу и звезды вверху, на мигающие кровавые огоньки на кончике крыла — надеюсь, не НЛО там нас сопровождает? Странно понимать, что под нами, там, остаются Польша, Швейцария, Тулуза, Барселона, пропала красная кайма над землей в той стороне, где осталось солнце, проступили электрические брызги и цепочки на земле, а потом пропали, потому что настало утро, и вдруг я заметил: отблески самолетных ламп, светильников, фонарей отражает мятая вода — мы садимся со стороны океана.

Самолетная дверь съехала вбок, открыв утренний сумрак и Португалию — смуглую девушку в оранжевой жилетке; когда разошлись стеклянные аэропортовские двери, небо уже стало синим, мы увидели замершие фонтанчики пальм и маленькие белые дома, обсаженные тесными толстолиственными кустами, я вздохнул и в который раз потрогал в кармане пачку евро — на месте?

В отеле “*Dom Joze*” плечом к плечу мы выглянули в окно — шестой этаж, солнце слепит, пустой бассейн, окруженный лежаками и дневной высохшей травой.

— Давай в душ!

Сын стянул через голову рубаху, обнажив ребристую тощую грудку, и кричал из душевой:

— Здесь окно! — и восторгался, сверяясь с приготовленным администрацией русскоязычным списком: — Всё есть! Полотенце! Мыло! Халаты! Презер... Расчески! И сим-карты!

А я пощелкал кнопками, инспектируя возможности гостиничного ТВ, и третьим нажатием обнаружил канал для огородников: рыжеватая школьница, сосредоточенно опустив глаза, последовательно засунула во влагалище и высунула пучок моркови, банан, мобильник «нокиа», кукурузный початок и небольшой кабачок, и тут в душе стихла вода — я пожарно выключил телек и заметался: пульт забросил в тумбочку, потом перепрятал под ворсистые одеяла в коридорном шкафу, нет — достал, выщелкал из пульта батарейки в урну, вырвал из телевизора сетевой шнур, спустился на ресепшен и сказал негритянке самого черного, жирносапожного цвета, с распаханной смоляными косичками башкой:

— Тиви. Рум, — написал на бумажке «617», сложил руки противотанковым ежом и закончил: — На хрен.

На балконе отеля уже висели родные флаги и сообщение «Мы приехали, чтобы победить» длиною в этаж, в ресторане среди толстых греков и кудрявых испанцев (я сразу заметил, чем они отличались от нас — они помоложе, они приехали с женщинами) уже разместилось бритое багровое брюхо в одних трусах с надписью «Газпром. Буровая компания» и басило неуверенно улыбающемуся официанту, не унижаясь до чтения меню:

— Парень, сделай супчику рыбного, полпорции.

В ресторане я провел ногтем по незнакомым словам в меню, в шестнадцатый раз гавкнул на готовые стать плаксивыми мольбы и полуугрозы:

— Мы не пойдем в «Макдоналдс». Разговор окончен! — и растерянно оглянулся на аквариум, где марсоходом преодолевали барханы какое-то ракообразное — его тут же изловили и принесли показать, и я, как римский император, оборвал подпанцирную жизнь скупым жестом, и через полчаса мы уже молотили, как с подмастерьем кузнец, каменными молотками по распаренным, шершавым клешням, добывая мясо и разбрасывая сочные, липкие брызги.

Кошки в стране рыбных ресторанов выглядели до смерти запуганными и подозрительно истощенными. И — ни одного насекомого.

Пройдем набережную до конца?

И пошагали — мимо поющих «индейцев Амазонии», убедительно похожих на молдаван, в пер-

натых головных уборах российского триколора, в замшевых нарядах, пошитых из бахромистых скатертей, — индейцы дудели-гукали в плотики, связанные из бамбуковых бревнышек, и продавали луки, топоры и *CD*.

Шли мимо вывезенной на вечернюю смену инвалидной коляски — нищий демонстрировал загорелые обрубки ног, фото семьи с восемью детьми и побирался по-русски — подготовился!

Мимо самодеятельных представлений — жирный факир в кожаной жилетке засовывал факелы в рот и боязливо, как вернувшийся посреди ночи муж на скрипучие пружины под обманутый бок как на минное поле, прилегал усыпанной родинками голой спиной на битое бутылочное стекло морского цвета — бутылочные донца с хищными, зубастыми краями он предварительно выбросил из общей россыпи.

Из корзины факир доставал змей, накручивал на шею, подставлял губы под пляшущий змеиный язычок. Одна кобра никак не хотела подниматься, расправлять капюшон и двигаться вообще. Лежала, как электрокабель.

Сын заметил:

— Кобра зависла.

Мимо бесконечных баров, и из каждого текли сладковатые аккордеонные местно-народные песенки, и в каждом посреди зала сидел морщинистый старик в шляпе и значительно молчал. В по-

следнем баре играл на гитаре негр в майке португальской сборной, плясал бездомный (вряд ли и здесь их называют «бомжи»), скромно придерживая за талию воображаемую спутницу, и два татуировщика караулили клиентов; дальше после пары жилых домов, заборов и помойки кончилась брусчатка, кончились отели со светящимися на лбах или макушках трех-, четырех-, пятизвездными именами, пропали пляжные зонтики-тюбетейки с растрепанной, провисшей соломой, дальше открылась честная, сухая земля, поросшая колючими косями, и низкорослые сосны с кронами, зачесанными заветренным дыбом, кренящиеся назад — от океана к земле; здесь не находилось тропинок, здесь неприветливые люди ужинали возле домиков на колесах и раскладывали спальники возле костров — сын разулся и побежал к воде подбирать ракушки, я остался на холме: вот здесь океан не сдерживали буны, сложенные из бетонных блоков, не подавляли горы — плоско и огромно океан катил на берег пенистые валы, полируя песок до гладкости гранитной плиты, оставляя клоки водорослей, похожие на комки спутанной пряжи. Песок за день из желтого превращался в рыжий, коричневый, оранжевый и вот теперь — темно-зеленый. Здесь океан был равен земле, что могла противопоставить земля? — только разнообразие, свое разнообразие, а в постоянстве, одинаковости океана была мощь уравнивания, сглаживания всего: катил

и катил свои катки, волны, здесь была видна пожирающая работа времени, крышка механизма приоткрыта, слева и справа океан ограничивала только дымка.

Я думал: возраст меня опередил. Пора хоть кем-то становиться, отцом, что ли, укореняться и просто жить, готовясь к смерти, если нет счастья не думать о ней. Не видно чаек. А вот ласточки ныряли над головой.

Ночью почему-то проснулся. Безмолвный отель — ночное животное — открыл поры, расстегнулся, стал посвободней и задышал, освободившись от дневного служебного гнета, я слушал — шумят водопроводные течения, поскрипывают двери, булькающим полосканием горла будит телефон в подвале или на чердаке украинку-уборщицу, ветер скользит вдоль тросов по шахтам лифтов, застонала женщина, и я услышал, словно дошли сотрясениями, толчки тела в нее, потряхивающие кровать, раз, два... На «десять» всё стихло, я подумал: парень, видно, как и я, читал на ресепшен бесплатную газету для русских Пиренейского полуострова, где написали, что для достижения оргазма женщине вполне хватает сорока семи секунд, включая прелюдию и гигиенические процедуры, а одновременно достигаемый оргазм — это выдумки феминисток.

Встал и укрыв сбросившего одеяло сына — всё, что могу сделать для него. Еще — накормить. Я сидел во тьме на краю земли и перебирал: что еще

могу? Чтобы не думать страшного: нужен ли я этому мальчику? Кроме денег, конечно. Да и то...

В Лиссабоне за три часа до матча в автобус вынужденно, как на плаху, проживая каждый шаг, поднялась коротко остриженная гид с внешностью многолетней бодрящейся вдовы из южноамериканского сериала, из тех женщин, что под натиском возраста уже теряют пол, оставляют его за ненужностью дома в морозилке. Красные и синие бейсболки, бицепсы, золотые цепи и покрасневшие от солнца и водки серьезные лица людей, жаждавших порвать испанскую сборную, она оглядела с близорукой неуверенностью, словно сопровождала до этого только группы православных паломников, и искала опоры в привычном:

— Добро пожаловать в Лиссабон!

Автобус промолчал. Потом кто-то объявил решение:

— Хорошая баба. Возьмем с собой на стадион.

Гид поспешно отвернулась и вгляделась за лобовое автобусное стекло, озираясь по сторонам, — сегодня что-то пугало ее в привычных картинах португальской столицы.

И наконец решилась:

— В данную минуту мы проезжаем площадь Фигейру!

— Офигейру!!!

Посреди злорадного, безумного хохота гид что-то пыталась еще говорить, то улыбалась (дескать,

и ей смешно, непонятно, но смешно), то пыталась перекричать, но сдалась и долго молчала, выжидая следующего шанса — вот:

— Вот, обратите внимание! Проезжаем по мосту имени Двадцать пятого апреля над рекой Тежу, которая имеет — ГРАНДИОЗНУЮ — протяженность!

— Какую?

— Триста километров!

На задних сиденьях кто-то презрительно сплюнул на пол.

Сидевший перед нами лысый врач из Перми в очках с круглыми правдоискательскими или садистскими стеклышками приподнялся:

— А-а что за рыба здесь водится?

Гид коротко переговорила с суровым водителем, он прислушивался, переспрашивал, подымал седые брови, пожимал плечами, щупал мочку правого уха свободной от руления рукой, сам себе удивляясь, будто случайно обнаружил, что не может припомнить адреса или имени внука, который на самом-то деле назубок должен знать, и сообщила:

— Хек. Есть такая рыба? — И с некоторым сомнением добавила: — Ставрида.

— А подлещик?! — и убедившись, что ответа нет, врач победоносно опустил на свое место, ответив на пару поздравляющих рукопожатий.

— А вот, смотрите, на горе — памятник Христу. В мире таких всего два. Второй — в Бразилии.

— И в Анголе, — мрачно поправил ее пожилой усатый болельщик в рогатой шапке викинга с двумя толстыми девичьими косами.

— Правда? А вы там... Путешествовали?

— Я там воевал.

Гид поднесла микрофон ближе к высохшим губам:

— Чуть расскажу о городе. Так откуда взялся петух как символ Португалии? Сначала, в древности, эта птица, петух, стала символом только одного столичного района, где произошло чудо. Чудесный случай, — она торжествующе подняла указательный палец и предупредила: — Сейчас я вас посмешу! В этом районе к судье привели человека, приговоренного к смерти...

В автобусе скопилось гнетущее внимательное молчание.

— А судья, представьте себе, как раз прямо там, в зале суда, собрался позавтракать петушком, — говорила она людям, которые всё это себе очень хорошо представляли. — Приговоренный взмолился: отпустите меня на волю, к семье и детям. Я невиновен! Судья ответил: хорошо, хорошо, пойдешь сейчас на волю. Но только если эта жареная птица ВОСКРЕСНЕТ! Вдруг петушок вскочил и закукарекал! — гид подождала в ненарушаемой тишине и неуверенно хихикнула в микрофон.

Русские болельщики не улыбались. Кто-то из специалистов с задних рядов пробасил:

— Немалых бабок стоило. Петушка-то усыпить.

На стадионе у меня сразу испортилось настроение. Сын писал в Москву. Что? О чем? Сидит и клюет, щиплет и щиплет, а я с семидесяти метров наблюдаю, как девушки в коротких юбках размахивают флагами шестнадцати государств и трясут круглую эмблему чемпионата, похожую на растягиваемый пожарными брезент — на него в комедиях приземляются старушки и влюбленные, спасаясь от пламени, — а он всё пишет. Никогда не думал, что так может выворачивать душу костяной, мелкий, дождливый перестук.

Тут еще испанская трибуна взревела и заискрила фотовспышками — испанская сборная в щеголеватых синих брючках и малиновых рубашках вышла попробовать травку, следом — наши в сиротских трусах — боязливо, издали похлопали родной трибуне, не улыбаясь, не подымая глаз, а испанцы всё прибывали, две трибуны — напротив и наискосок — краснели на глазах.

— Почему нас так мало? — с отчаянием спросил сын.

Почему же мы сидим посреди сбившегося в жалкую кучу разномастного сброда в буденовках, пилотках, утыканых значками ГТО, с выбритым на затылках «СССР»? Я сгонял в душный, как гладильная комната, туалет и обеспокоенно, перемахивая по две ступеньки, полез наверх, на последний ряд, и еще выше — за спину волонтерам с кульками попкорна: выглянуть наружу!

И дорога, нет — три! — извилисто подползающие меж голых холмов дороги были забиты впритык, заставлены автобусами с российскими и красными стягами, и вереницы автобусов спускались, выворачивали, втискивались и пятились еще, вон еще и оттуда — сюда, к стадиону, с тыла, меж конных полицейских с застекленными мордами, торопящимся, «сейчас-сейчас», шагом, едва не переходя на бег, спеша на работу, тянулся змеей бело-красно-синий, полуголый, мускулистый поток, пузырился, растекался и скапливался в многотысячную запруду у проходных, и оттуда вот как раз в нашу сторону повернул ветер, доносилось грозное: «Рос-си-я!», я замахал бейсболкой над головой: мы здесь! Сюда!

Бегом вернулся к сыну и прошептал перехваченным судорогой горлом:

— Сейчас-сейчас, — насмешливо щурясь на испанские трибуны и чувствуя, как сердце сладковато сжимает и разжимает нежная, гордая ладонь — мы! Страна!

Сейчас-сейчас, и русские затопили трибуны, и посреди вип-сектора испанцев, где пили шампанское и гуляли официанты, страшно и несвержимо повис плакат «Фанаты Бузулука», и по испанским рядам, по рукам и прямо по головам, ослепляя и утюжа, сполз огромный российский флаг с загадочной надписью “*Smolensk*” — нас больше! — и мы заревели гимн и потрясенно смолкли лишь однажды. Когда испанцы забили гол.

Всё кончилось, за стенами стадиона, оказывается, уже ночь и лукавые таксисты показывают большой палец, нестройно покричали уходящим затылкам: «Педерасты!», «Дармоеды!», а потом, словно что-то вспомнив: «Вперед! Россия! Мы с то-бой!»

И мальчики молча блуждали по грязному, неузнаваемому пустырю в поисках своего автобуса, бродяжно завернувшись во флаги, несли поникшие горны и буденовки павших героев, чуть не избили водителя: а чему он улыбается? А не надо шутить! — и поехали сквозь тьму в сторону океана.

— Вот бутерброды! Вы заметили? — шептал мне врач из Перми. — Ни разу середину поля не прошли на широком шаге. И как судья Володю Быстрова на свисток посадил... Не переживайте. Раз игры нет — переживать нечего. Я с девяносто третьего года не переживаю. Спокойной ночи!

Я грыз зуболомное миндальное печенье — да когда оно кончится?! — и разглядывал придорожные усадьбы, райские места в ночи — в точности как в кино и рекламе! — рай: белые стены, розовая черепица, под деревьями лежат апельсины, сквозь автобусные окна добивает банный эвкалиптовый дух, и всё цветет, всё здесь цветет...

Болельщик в рогатой шапке с косами смотрел туда же:

— Так и будут в нищете жить. Пока мы их не купим, — и буркнул: — И с Англией скоро разберемся. И язык не надо будет учить!

В такие минуты всегда хочется другого. Вступить в библейское общество. Выучиться играть в покер. Смотреть умные фильмы на ночь. А что? Или заняться испанским. Нанять худую или некрасивую репетиторшу-почасовика.

Спящий врач из Перми снял очки, вытер глаза и пробормотал:

— Как все-таки обидно...

Долго спали, и, пока спали, поднялся ветер, на пляже вывесили красный флажок, серые волны, подобравшись к берегу, сворачивались в ревуший, пропесоченный вал, по песку бродил один — бродил в юбке из полотенца толстый русский малый, знающий, по моим сорокавосемичасовым наблюдениям, три слова — «Димон» и еще два матом. Он искал трусы, потерянные в прибое, хмуро поглядывая на черных мохнатых крабов, карабкающихся из воды на заросшие смолистой зеленью каменные глыбы; а вечером, похожим на ночь, мы сидели на качелях детской площадки, сын ел вареную кукурузу, я хвалил советскую власть. Вдруг он сказал:

— Один мальчик из нашего класса спустился в метро на рельсы и пошел навстречу поезду, — он едва заметно кивнул мне: ну, давай, ты же типа всё можешь, всё измени, еще есть время, — похороны завтра.

— Наверное, он чем-то болел? Психическое расстройство?

— Его родители всё время ругались, — он повертел в руках обгрызенный початок: всё? — А как первый раз пробуют наркотики?

Дождлся. Вот сейчас я. Мои давно готовые слова, засеянные в его память, вбитые, ободряющий пример моей жизни — опорой, ужасающие примеры других — угрозой, впитают сейчас и с этим пойдут в страну, где я уже не смогу быть с ним всё время рядом:

— Слушай!

Но — португальцы кому-то забили, на набережной что-то ярко полыхнуло и взорвалось, загудели автомобили и прогулочные паровозики, закричали дети на балконах, подпрыгивая и растягивая фанатские шарфы, по набережным очумело понеслись комнатные собачки в плащиках национальных расцветок, к экрану посреди набережной, где шла трансляция, бросился нечесаный люд, распевая безо всякого мотива краеведческие песни, в них угадывались названия ближайших рыбацких поселков, заметались зигзагами безумные велосипедисты, на пляже, где жарили на углях какую-то вонючую дрянь, напоминающую змеиные хвосты, все, у кого нашлись деньги на пол-литровый пластиковый стакан пива, прыгали, обнявшись и завывая:

— Пур! Ту! Гал! Пур! Ту! Гал!

И ударил салют!

Из Домодедово сына забирали, сам я везти не мог — люди, прописанные в моей бывшей кварти-

ре, не желали дарить мне лишние полтора часа. Дождаясь прибытия конвоя, мы наменяли жетонов, отошли к игровым автоматам и в полнейшем немом взаимопонимании и взаимовыручке отбили захваченный бандитами банк, уложив по ошибке пару заложников из числа персонала, затем отстреливались на полном ходу, защищая почтовый тарантас от соединенных сил грабителей и индейцев — среди нападавших особенно выделялся жирный мексиканец в шляпе-поганке, пришлось бросить под ноги их лошадям мешок с динамитом, едва отдышавшись, мы ввязались в перестрелку в салуне, возникшую по какому-то совершенно плевому поводу, но переросшую в настоящую бойню. Особенно прицельно жарила по нам из пулемета какая-то симпатичная дама в красном платье. И тут ему позвонили.

— Ну, всё?

Такой возраст, что уже не обнимешь. Стесняется. Рукопожатия.

— Знаешь, что я хочу, чтобы ты сделал? Забери меня к себе. Давай встречаться почаще. Не ругайся с мамой. Больше я с тобой никуда не полечу.

— Что?

— Научись выдувать пузыри из жвачки. Смотри: нажевываешь такой комок, плоский, вот так зажимаешь между зубами. И — в середину проталкиваешь немного язык, а потом язык убираешь и сразу начинаешь дуть, вот, — надулось и лопнуло, — понял?

...Зимой детина в тулупе и шапке с опущенными ушами раздавал билеты и ваучеры болельщикам, сразу раздевшимся до маек с гербами, — знакомыми казались все: с вологодскими мы точно куда-то уже летали, и с вон тем косым, стеснительно смотревшим в сторону. Со вкусом домашней каши во рту я смотрел, как судьба рукой авиадевушки помещает нас двумя крестиками на неведомые места на борту и кричит в телефон в доносящиеся снежные задувания:

— У тебя сто сорок пять пассажиров и одна ляля. Сто сорок шесть по головам!

Пристегнувшись, сын спросил:

— А в этом Израиле нет сейчас туризма? То есть террора?

Над нашими головами летала перекличка — из первого салона во второй:

— Кто мужик и натурал — тот болеет за «Урал»!

— Кто болеет за «Торпедо» — тот родился от соседа!

Соседка лет семидесяти двух, сразу попросившая называть ее Надей, крашенная в цвет «морозный каштан» (я до дембеля считал, что такой цвет встречается в естественной природе, пока одна девушка не объяснила), оторвалась от газеты:

— Тут написано, что всё больше и больше пилотов управляют самолетом в пьяном виде.

Самолет неожиданно качнулся набок и завернул резко влево, дважды нехорошо вздрогнув.

Народ запил, мы с сыном яростно обсудили с впередисидящим интеллигентом Маратом величие нашей сборной. Виски, к которому время от времени припадал Марат, помогло ему сосредоточиться на единственном действительно важном вопросе:

— А кого Хиддинк поставит в полузащиту?

Я трижды перечислил всех наличествующих полузащитников, он соглашающееся кивал: да, все эти имена ему известны, но после тяжелого раздумчивого сопенья и еще одного глотка он вновь, просунув голову меж кресел, указывал, как впервые, теперь уже совершенно отчетливо, открывшуюся только ему слабинку:

— Да. Но кого Хиддинк поставит в полузащиту? — Так и уснул, уронив нам на колени сперва цээсковский колпак с бубенчиками, а затем очки — мы их бережно хранили, азартно предвкушая ужас ослепленного пробуждения: где?!

Сын попросил:

— Расскажи какую-нибудь страшную историю.

— Однажды мы с мамой потеряли тебя на Воробьевых горах. Пошли гулять и — потеряли. Полчаса бегали искали.

Сын с ужасом взгляделся в меня:

— А потом? Нашли?

Тут пошуршало «кгм-кгм...» и раздалось:

— Говорит командир корабля. Предупреждаю, на высоте девять тысяч пятьсот метров сто грамм

спиртного действуют как двести. Если не прекратится драка во втором салоне, мы садимся в Симферополе и вызываем милицию.

Да будьте же вы все прокляты, уроды!!! Я уже представлял себе разрастание побоища, экипаж, забаррикадировавшийся в кабине, и штурм ОМОНОм в симферопольском аэропорту — стоило ради этого пропускать два учебных дня и репетитора по математике!

Все прислушивались, и чудился грохот битвы, но это стюардессы загрохотали своими кухонными тележками, шепотом всем сообщая: утомонились.

Марат проснулся и забрал свои очки с таким спокойствием, словно поручал нам их сохранить.

По прилете я искал разбитые носы и разорванные рубахи, но русские патриоты ступили на Святую землю в приличном виде и сонно потекли в громадные просторы Бен-Гуриона пехом или эскалатором, вниз, на паспортный контроль, покорно снимая картузы для опознания и обдавая пограничниц алкогольными дуновениями; только вологодцы выронили под ноги таможеннику пакет с десятью бутылками пива в самый разгар клятв, что везут только государственный флаг.

На свободе, после очередей и багажных разборов, какая-то молодежь с нажимом одаривала каждого белой шапкой «Израиль любит тебя». Я отправился искать урну: куда бы ее выбросить, а сын побежал в обменник превратить долларовую сотку в шекели

и оттуда — в ближайший магазин, где ему жестоко пояснили: в аэропорту курс — самый невыгодный.

В осеннем море кто-то плавал среди упаковочных обрывков и студенистых, коченеющих рыбок, по удивительно белому песку носились собаки в ошейниках за летающими пластмассовыми тарелками, первая же красивая девка рассмеялась по-русски — она висла на пожилом пузане, тот сосал сигару и отхлебывал из горла какого-то дорогого сосуда. Грязный араб показал, как работает душ — надо дергать за проволоку.

Мы опустились на два незанятых белых стула, словно ждавших нас. Из-под земли вырос дед с седой грудью и показал пачку квитанций. Двенадцать шекелей это стоит. Пока не зайдет солнце.

Я подозрительно следил за солнцем — путеводитель обещал его посадить в половине пятого, и я предупреждал об этом попутчиков — нет смысла раздеваться и лезть в море! После половины пятого на меня смотрели, как на идиота.

Какой-то длинноволосый мужик валялся под солнцем на песке, головой к морю, и, как очумевший жук, взбрыкивал поочередно ногами с такой судорожностью, что я уже поднялся поискать спасателей, но мужик резко перевернулся на живот и, весь облепленный песком, как шершавой шкурой, вскочил и особыми прыжками наискосок волн заметался по мелководью, нагружая бедра. Оказывается, он массировал организм для продления жизни.

Сын забегал в море, нырял и выскакивал греться, показывал — смотри! смотри! — в небо: кривыми волнистыми росчерками, неравносторонними клиньями во всю ширину синевы там неслись прилетевшие за нами птицы, он кричал:

— Я вижу вожака!

Жизнь мальчика — сколько в ней ясности, одна ясность и жадность впитывать весь мир, и свет — много-много света, там солнечно даже в кромешной тьме, в том, что считается у него кромешной тьмой.

Без зависти, но с жалостью непонятно к кому я смотрел за молодыми, чистенькими парами, бодро и стройно входящими в ресторан — в безмолвии, в согласии душ и сердец, в котором они заведены идти до смерти, обрастая детьми и болезнями до тех пор, пока под ноги одного из них не грохнется с небес гробовой камень, а второй обхватит каменные эти буквы и цифры и зарыдает, истекая заботами об оградке, фиалках, подновлении фото, памятных днях и не уставая свидетельствовать о несомненном сходстве, проявляющемся в потомстве, — ведь это говорит ЕГО (ЕЕ) голос (но никому, даже оставшемуся ему (ей)), голос невнятен — что-что? — но разницы нет: не устанет вставать посреди семейных торжеств и чаепитий наскучившим, строгим свидетелем защиты, неуместным, как... Чтобы: был бы жив(жива)... Как говорил(а)... Вот бы порадовалась(ся)...

Хотя всё может быть по-разному.

Вечная любовь — это та смола, что проступает на весенней коре, — каждый хочет увидеть, услышать ее голос, да хотя бы слух о ней... Возможно, притягивает именно «вечный». Всем неприятно видеть безмятежно хохочущих (оттенок предательства) вдов и детей, обыкновенно проживающих годовщины маминого ухода. Почему-то живучая жизнь быстро входит в противоречие, растет в направлении «против» вечной любви, за которой — совсем близко или за знаком равенства — монастырская тьма. И сырость.

Я смотрел на белокожую девчонку — высокую, тонкую, с плотными, круто изогнутыми бедрами, — полька? Нет, говорит по-немецки. Как она прыгает в воду, трогательно зажимая пальцами нос. Как плавает, как двигаются ее ягодицы, поднимаясь над водой, словно сами по себе, отдельное, живое существо, плод. Как, устроившись в тени, читает она журнал, всматриваясь в картинки с напряженным удивлением. Как уже совсем другая, притихшая, выходит из кабинки для переодевания в сухое, распустив по плечам волосы, и украдкой, на краткий миг оборачивается на меня свежезагорелым лицом — так кажется, так всегда кажется, когда на кого-то смотришь, что и на тебя однажды посмотрят в ответ.

— Вот, — показал я сыну, — самая красивая девчонка на этом пляже, — и почему-то добавил: — Но на таких не женятся.

— А на каких? — деловито спросил будущий жених, словно собираясь записывать.

Я хотел сказать: выбирай девушку с будущим. Или не так, не поймет он. Вот так: ту, что будет носить твое фото с ломаными краями в бумажнике.

Но не сказал. Побоялся, что он хотел услышать, какой, с моей точки зрения, не была его мать. Тогда любой мой ответ был жестокостью. Или ложью.

На утро решающей битвы открываем дверь номера, и воробьи в пальмах внутреннего дворика, словно смутившись, обрывают свой гам, стайками и по одному разлетаются в разные стороны, как школьники, застигнутые завучем на перемене за курением на спортплощадке.

Утренний запах хлорки или чего-то такого же в вымытых швабрами коридорах, уборщицы натирают тряпками золотые поручни завитых лестниц, добродушно стрекочут подстригатели травы.

Синее там, впереди, разделяется на море и небо. Утренняя луна — бледная, как плевок. Мясистые стебли травы смыкаются в пружинистый вал. Мокрые тени облаков сохнут на горах, и парус виндсерфера далеко в море похож на слезу, дрожащую на реснице.

Охранник отеля (а может, подносчик багажа) сидел за особым столиком на тротуаре у входа, багажные карточки шулерски разворачивались в павлиний хвост и сыпались стрекочущей ленточкой у него из руки в руку, украшенную серьезным перстнем.

— Хелло! Сегодня болеем за наших, — он изобразил приветственный жест, — вон ваш автобус, — отвечал складно и весело, понятно, но не по-нашему и не в первый раз. — Я из Волгограда, зарплату не платили. Уехал. И здесь счастлив. Тепло! Ничего случиться не может. Ни войны, ни кризиса! Зарплату платят. Язык? Что там за язык — двадцать две буквы. Сам липнет! Восторг.

— Дома бываете?

Он словно впервые задумался над этим и озабоченно попытался расшевелить двумя худыми пальцами синий камень в перстне:

— Да надо бы. Там мать осталась. Шесть лет не видел. Вот денег накоплю и съезжу, — и опять вроде по-русски, но уже не по-русски: — Гостиницу не хотите построить в Тель-Авиве? Вон тот участок пустует. Хотите, угадаю, откуда вы? Из Ростова! Я как увидел, сразу понял: ребята из Ростова.

Всё, что я знал про Ростов, — хищные, цепкие девушки и регулярно появляющиеся серийные ма-ньяки-убийцы.

— Автобус ждать никого не будет, — с видимым удовольствием объявил худющий, кучерявый, холодный и пустой гид Эрик; он выглядел стариком, болельщиков старался не замечать, говорил кому-то, кто незримо присутствовал среди нас и лучше понимал значение предстоящего Иерусалима. — Мой русский не большой. Самые красныричивые речи не высказывали из моего

ырта. А вот это здание персиками разрушено немножко полностью. Но трудный вопрос — есть в группе одно имя-фамилия, но при этом это два разных человека?

Мы с сыном подняли руки. Хорошо гиду, свободен от зависти и течения времени, живешь среди памятников и знаешь правду о них. Эрик излагал подробности иордано-израильской войны.

— Воевали-воевали... Столько лет! И один город не могли захватить. Мы бы давно захватили! — гордо сказал косоглазый болельщик, он всегда ходил в пропыленных спортивных штанах, я думал: чей-то водитель, оказалось — банкир из Тулы.

«А Константинополь?»

Сын заметил:

— Ты всё время что-то говоришь про себя. Что ты сейчас сказал?

На Масленичной горе завывал ледяной ветер, Эрик остался со своей лекцией один, как только арабские мальчики подогнули для фотографирования покорных ослов — по пять шекелей. В автобусе кто-то из вологодских заметил:

— Кто-то из ослов провонял наше знамя.

— Давайте вернемся и предьявим!

Эрик поднял свой зонтик:

— Ориентир!

Мы потянулись за зонтиком сквозь вонючий арабский рынок, где рубили мясо и мухи жрали коровьи легкие, развешенные на крюках, сквозь

пустынный армянский квартал, увешанный призывами признать геноцид в Османской империи, сквозь решетку послушно взглянули на остатки римской стены.

— Ей две с половиной тысячи лет.

На стене валялся резиновый мячик. Запыленный, но несдувшийся. На той стороне стены за еще одной решеткой бегали еврейские школьники. Эрик дождался первого вопроса:

— Как эти шапочки не сваливаются у них с головы?

И все хлынули в какое-то торговое жерло под вывеску «Скидка 50%», а я спросил у ближайшего араба, сколько стоит лоскутное одеяло.

Араб отвернулся и бросил через плечо:

— Сто пятьдесят долларов.

— Пятьдесят.

Араб, не поворачиваясь, объявил после презрительной паузы:

— Сто и двадцать.

Мы двинулись дальше за зонтиком, араб бежал за нами еще два квартала, умоляя взять одеяло за пятьдесят, сорок — за сколько пожелаешь!

Храм Гроба Господня зажимали какие-то стены, давили его в тесноту, камень, деловитые медсестры в голубых передниках закатывали внутрь паралитиков в креслах, туда же по-рыбьи тихими стайками скользили наши православные, не отставая от хвостатых батюшек.

Эрика не слушали, болельщики недоверчиво вчитывались в стрелки указателей, напоминающие Диснейленд, — это подножие горы, где распяли, на камне этом мазали елеем (на камень подбито валились люди с обеих сторон), в той часовне камень, с которого воскрес, — в часовню заворачивала полуторачасовая очередь.

Вологодские обступили Эрика:

— А где, говоришь, кровь текла?

— Вот тут.

Все навалились на стеклянную витрину, разорвав и выдавив в стороны делегацию из Латинской Америки.

— Крови что-то не видно...

Сын взглянул на меня: туалет. Куда бы мы ни ездили, я всюду искал туалет. Особенно запомнились Елисейские Поля. И рейд на снегоходах по лапландской тайге. В этом смысле.

Такого туалета я не видел даже в армии. В каком-то внутреннем дворике, равномерно покрытом невысыхающей мочой, размещались кабинки, заваленные дерьмом...

Болельщики, собравшись поголовно, добивали Эрика, загибая и разгибая пальцы:

— Погоди-погоди, чо ты сразу в сторону, разговор был за то, что на этом месте Елена Прекрасная обрела первый крест, так?

— Так.

— Так. А как же она могла его поднять? Если весил он сорок пять килограммов? Куда ты отво-

рачиваешься? Ты на меня посмотри — всасываешь то, что я говорю?

— Ну, значит, фрагменты креста, — осторожно подбирая слова, выдавливал Эрик.

Я мучился: сын — голодный, за весь день — один пресный арабский батон, не знали, куда выбросить.

У Стены Плача с автобуса попросили снять флаг, и, не без сомнений разместив на макушках засаленные бумажные кипы, неловко притихнув, москвиты, великороссы, граждане РФ, встающей с колен, бесшумно прокрались вниз по ступеням меж шумно и деловито молящихся еврейских гнездовий, подставок со свитками Торы и каких-то шкафов, в которых свитки вращались особыми механизмами, в мужскую часть стены — она раза в три больше женской.

Стена не выглядела древней, хотя сверху ее обжили какие-то кустики. Потрогал — удивительно теплые камни. Оглянулся: сосед в курортной кепочке шептал, прижавшись ухом к стене, и замолкал с такой сосредоточенностью, словно из-за камней ему что-то отвечали.

Сын стоял рядом и не знал, что здесь делать.

Меж камней мусорно натыкали стопки разномастных записок, записки, туго свернутые в окурочные комки, вбили, втиснули в каждую мельчайшую впадину. На отогнувшемся крае одной я прочел аккуратное русское «здоровье». А, не буду ничего просить.

— А теперь мы поедem осматривать место Тайной вечери.

— Погоди, Эрик, — с места грузно поднялся выбранный народом делегат в пионерском галстуке, — тот самый зал, где была вечеря? Или какой-то похожий зал, который построили близко от того места, где был когда-то, блин, зал, похожий, типа, на тот, где была вечеря?

Эрик молчал.

— Ну-ка, вези нас туда, где можно выпить!

Оттуда, где можно выпить, автобус тронулся, закричав «День Победы», пьяные дирижеры, размахивая руками посреди салона, пытались понять: последние или первые ряды громче поют, никто не попадал в такт.

— Давно наблюдаю за тобой, — ко мне подсел косоглазый и глядел, как всегда, в сторону, — твой сын? Молодец. Мужчина. Уважаю, — он пожал мою руку. — Я своей позвонил, предупредил: приеду — будем делать сына. Вырастет — буду тоже повсюду с ним ездить.

И мы вместе улыбнулись, как хохочет сын, — мы обгоняли другие русские автобусы с воплем «Тарань!», там наши братья пели «Взвейтесь кострами...», а мы затагнули «Последний бой, он трудный самый», сын пел и смеялся вместе со всеми, я чувствовал: всё не зря, правильно я всё вот это.

А вот и ночь, и пылающий стадион, и на стадион толпами и колоннами, смеясь, валят одни на-

ши, нас никто не перекричит, и толстый певец по фамилии Шаповалов, взяв посреди поля микрофон, с одинаковым чувством исполнил оба гимна; с началом мы, народ, немного поспешили (Шаповалов с упоением и наслаждением медлил), но подождали у порога припева и припев грянули вместе и так, что всем ясно, кого здесь всех больше и кто главней...

Что евреев побольше, стало ясно, когда дармоеды и педерасты пропустили гол.

Оказалось — это нас почти нет.

В автобус все вернулись абсолютно трезвыми.

В отеле сын спросил:

— Пап, почему мы всё время проигрываем?

Сказал:

— Сейчас буду плакать, — и уснул, вытянувшись поперек двух кроватей, во всю ширину. Удивительно, как быстро они растут и как мы...

Я собрал вещи и пошел к морю, столкнувшись на выходе с косоглазым банкиром-туляком:

— Из ночного клуба, — отчитался он, — русским никто не отсасывает. А предлагал — тысячу евро!

На море разлили дрожащий лунный свет, пустой пляж, одна женщина в белом платье, молодящаяся старуха сидела на лежаке, принеся с собой бокал из ресторана. Я смотрел на ее кривую, сломенную спину. Вряд ли она кого-то ждала.

Я прошел туда, где свет заканчивался, к морю, набирая прохладного песка в шлепки, — море под-

катывалось и вскипало, справа была дискотека соседнего отеля и голо стояли мачты парусных развлечений, наискосок тарахтел легкий самолет, впереди стоял катер — наверное, так здесь всегда; я поднял глаза — звезды, и ждал, когда одна звезда покажется особенной. Так всегда кажется, когда поднимаешь глаза на звезды, что одна звезда начинает мигать и переливаться или просто загорается на твоих глазах. Но ничего такого. Так и не понял, радоваться этому или нет. Можно уезжать. Завтрашний день — он всегда кажется новым миром. Даже если поспишь час, встаешь всё равно новым и в новом.

По самолету качались пьяные, стюардессы при снижении не могли посадить, прощались. Меня пытался обнять какой-то толстый дядя:

— Приезжай с сыном. Скажи в Челябинске любому — Валерик. Меня там все знают!

Из самолета в метель при минус девяти все шли принципиально в шортах и майках. Двоих несли.

Живые помощи

Обещали чудовищные снегопады — они и завалили, установив семилетний рекорд, в прошлый вторник отбушевала сильнейшая в году магнитная буря, вчера что-то аномально вспыхивало, а потом гасло на поверхности солнца, ожидалась сверхъестественно теплая весна, обещавшая перейти в катастрофически засушливое лето на фоне беспрецедентного падения евро, последствий зимней тоски и разворачивающейся гражданской войны населения с милицией — после всего и в течение я смотрел из-под бетонного козырька остановки «На повороте Селиваново» на ржавеющие в поле останки какого-то сельскохозяйствен-

ного монстра, кашалота, ковчега — арки-ребра сохранились целиком, кое-где шифер еще держался на остатках черепа, печень, кишечник и легкие цистернами еще занимали отведенные промышленной природой места; инструкция райотдела милиции на столбе объясняла, в какой последовательности и что следует в случае атаки «Аль-Каиды», — на столбе сидел коршун, ветер раздувал и заворачивал на бок его перья какого-то звериного, теплого оттенка, коршун не замечал меня, с сонным, свежеразбуженным видом он отрешенно смотрел куда-то вдоль дороги, по которой не ездил никто, туда, в сторону Майского, где на тополях собирались стаями и улетали... за реку, к маслозаводу, за дармовыми просыпанными семечками.

Чувство общего, бесконечного невезения охватывает любого нашего, как только он... Ну ладно. Человек, запоминающий это при помощи навязчивого наборматывания, несется с горки и ждет вечера, словно завтра и послезавтра случится именно то, что он ждет. Он заметно поседел и обрюзг. Девушки недоуменно смотрят на него, когда он шутит. Нет, на памятники самим себе, про которых говорят «хорошо сохранились», охраняемые за счет откатов с госконтрактов и выплат коммерческих структур, смотрят еще с интересом; ему трудно говорить про себя «пожилой» — про мальчика, что еще позавчера забивал за «Луч» в младшей возрастной группе, но это факт, неназываемый, но су-

ществующий, а также факт, что — никаких чудес за всю свою и окружающих жизнь, необъяснимого ничего, вещей там снов, исцелений в пещерном монастыре, связанном подземным ходом с детской колонией, свечений, встреч под кладбищенской шелковицей в полночь, голосов: «Ого-го-го-ооо, отмерьте десять шагов от бахчи в сторону шкабадерки и копайте!» («шкабадеркой» в городе Валуйки называется СПТУ, а педучилище — «педулей», медицинское — «медулей»), у бабушки обновилась икона на чердаке, но, говорят, это объяснимо законами физики; в валуйских пожарах шестидесятых годов (единственный раз Валуйки заметил «Голос Америки»! люди спали на улицах, боялись ночевать под своей соломой или камышом) моя тетя, в результате двадцатилетнего руководства единственным валуйским рестораном ставшая свидетельницей всех свадебных драк и знатоком человеческой породы, чудесного начала не признает: «Первые два дома, может, и сгорели. По пьяни! А остальные — сами же валуйские и поджигали. Из шалости и интересу!»; единственная случайность, похожая на чудо, давшая мне жизнь (ведь не напишешь — «спасшая»), произошла возле бомбоубежища на Стрелецкой улице, необъяснимо названной теперь Федеративной.

Мой дед уходил на войну от второй школы, уже седым, попросив (а скорее всего, велев) бабушку: «Береги детей»; а уже через четыре года, в победном

мае, моя мама каждый день ходила к зданию ШЧ (на железнодорожном языке так называется «служба связи»), где перед вишенным палисадником стояли на коленях те, кого выводили на этап, но не увидела — бабушку на Колыму увезли ночью, трое детей остались на попечении родни во времена, когда жрали подсолнечный жмых, даже для собственных детей не было хлеба, мама ела траву с маленькими черными ягодками, в наших краях называют ее «бзднюка», а дед исчез, лег где-то в землю, поставив хату на несчастливой привокзальной улице. Валуйки из-за станции (теперь ее называют «крупнейшей сортировочной в Европе») удерживали (в Белгород немцы вошли в октябре, а в Валуйки — только в июне), и брали (в январе, а Белгород аж в июле) — поэтому пятнадцать месяцев станцию и несчастные привокзальные улицы бомбили: как только по одному из двух «чугунных», на клепках мостов (один стоял на деревянных клетях) за маслозаводом на станцию заходил эшелон и останавливался выгрузиться или поменять паровозные бригады и заправиться углем и водой, из Харькова (куда вся Белгородская область ездит на выходные закупаться, кататься на сноубордах, в цирк и кормить вислоусую хохлятскую таможду и спецназовских упырей) прилетали немцы (кто-то им сообщал, пускал же кто-то по ночам указующие ракеты, пособники, дезертиры), бомбили станцию и нефтебазу, народ разбежался по деревням, а бабушка с детьми уходила

ла с «вокзала» в «город», за реку, отсиживаться у братовой жены в районе Стрелецкой и куцей улицы Карла Маркса — своего родового гнезда.

От мостов туда, в сторону Стрелецкой, тянулся луг с хорошей травой; там, где кончалось минное поле, пасли коров. Поближе к Симоновскому переезду и началу Стрелецкой луг переходил в некоторую возвышенность — на ней до войны начали выделять участки под дома, нарезать «планы», так местность и называлась — Новые Планы. За Новыми Планами земля подымалась и вовсе горой, и с меловой кручи просматривались и мосты, и нефтебаза, поэтому военные, «используя складки местности», весной вырыли в горе три блиндажа, перекрытые рельсами, двумя накатами бревен и землей. Чем занимались военные — непонятно, кто-то, оглядываясь (уже зная, что́ потом), считает воинскую часть зенитной: когда начинался налет, возле блиндажей били железной палкой о рельс; но до начала самых страшных бомбежек в начале июня военные ушли, и жители Стрелецкой и Новых Планов во время налетов стали уходить в блиндажи, а когда в гору угодила бомба и накат устоял, туда, под землю, потащили всё самое ценное, ночевали всей улицей, а Жерлицыны завели даже корову. Второго июня последний налет начался около четырех дня, неожиданно самолеты пошли на город, женщина, возвращавшаяся из Новой Симоновки, запомнила, что небо потемнело от самолете-

тов, бабушка потащила детей в блиндажи, но с моей мамой (сама она это случайное событие не помнит, это бабушка запомнила и повторяла каждое каникулярное лето) что-то произошло, она кричала, что не пойдет, в «убежище» не пойдет, она не хочет, отбивалась, срывала руки с себя, бабушка грозилась, просила и плакала, но силой тащить не могла: младшая на руках, и еще старший рядом, они опаздывали — второй волной самолеты пошли на Стрелецкую, словно какой-то пособник показал ракетой — точно в нас, бабушка звала: ну, хотя бы в погреб к Цуверкаловым — Цуверкаловы как следует вгрызлись в гору — нет! Девочка, ставшая моей мамой, кричала: нет! — и упала на землю, чтобы ее оставили здесь. Бабушке показалось: сошла с ума, и всё, что можно было еще, — они повалились в «щель», извилистую, в три ступеньки обыкновенную яму напротив дома, за ними прыгнула собака, прижалась, дрожа, к ногам, а затем вдруг выскочила и умчалась в огороды; первая бомба попала в погреб Цуверкаловых, похоронив семью, вторая (бомбы падали как-то глухо, «как в воду», запомнила мама) где-то поблизости — в блиндажах посыпалась земля, и те, кто помоложе, бросился по переходам в глубь горы, но третья бомба — прямое попадание.

Когда кончился налет, земля дышала, шевелилась, кто-то расслышал даже стоны, но не откопали ничего, кроме детских пальчиков на лоскутке

кожи. Спаслись семь человек: взрывной волной выбросило мужика, курившего у входа в блиндаж, женщину с грудным ребенком (двое детей ее остались) и старика Жерлицына, девочка Нина (одна из близняшек) не успела с матерью добежать до блиндажа и сестры, и мальчика Славку послали домой за керосиновой лампой — мальчик впоследствии попытался разрядить итальянскую гранату, после чего можно было встретить его в рано наступившем зрелом возрасте на вокзале без обеих кистей рук в постоянном поиске пропитания и особенно — водки; больше ста человек, никто никого не спасал, Новые Планы и Стрелецкая с утра завыли, но быстро заткнулись, потому что в сумерках по улице осторожно прошел «парный патруль» немцев; все, кто видел тех, первых немцев, почти все померли, да и дети их слабо действуют правой рукой после инсультов и шаркают, но из поколения в поколение дымится и прожигает главное, большее, чем ужас, — немцы шли в накомарниках!

Хотя, ничего не скажешь, комаров в тех местах хватает.

Этим чудом, необъяснимой случайностью мы остались жить, как и еще десятки миллионов, и даже победили в ВОВ — почему? — самое важное записано в оборванных фразах незаконченных тетрадей или на листах, вложенных меж страниц потрепанных книг, я попутался в ул. Пролетарских (1-я, 2-я, а в Валуяхах, кстати, шестнадцать Ново-

ездоцких поездок), меж жизнерадостных таджиков или цыган, разбиравших брошенные хаты, Василий Иванович придержал собачку, радушная хозяйка с беззубым ртом показывала дорогу сквозь равномерно нежилые, бедняцкие комнаты к столу, застеленному газетой с «Итогами десятого всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению», хозяин нарядился в новую байковую рубаху, черная клетка, и подпоясался армейским ремнем — поверх брюк, вот его спасла музыка, «вот поэтому я остался жить», он приваливается грудью к столу и запускает пальцы в зашипованные глаза, его политотдел и особый никуда не делись, это же не какой-нибудь ненадежный и слабопамятливый Бог, «я потом всё расскажу» — кому?! — и до сих не уверен, что ему не припомнят трех колхозных коров, побитых током, когда буря оборвала протянутые им провода; сын уборщицы Дома культуры (отец сапожничал по деревням, там его и опутала местная, и нельзя сказать, что красotka, а так... Василий Иванович его не хоронил) забрел в духовой оркестр, играли в фойе «перед мероприятиями» — люди толпами гуляли по главной улице до часу ночи, множество людей, вот что запомнили все — великое расцветающее множество, я покосился за окно, на пустоту, отступившую отсюда (поселок Уразово, родина, кстати, Дуремара) жизнь — мечтал в гобоисты, хотя судьба двигала в горный, на маркшейдера, наши

уходили к высоководному мосту через Оскол, и последняя часть мост подохла; последние несли раненого Большого Человека (он оказался подполковником), когда мост загорелся, Большой Человек умер — хоронить его понесли дальше, в родное село, в сторону Купянска, но хоронить хотели с оркестром — в Уразове собрали всех, кто остался: Михаила Костенко (альт), Семена (баритон), Максима Ильича (кларнет), Василия Степановича (труба), но и его — мальчишку (альт), Братищева; влезли в окно клубной кладовой, вытащили инструменты, а матери Василия Ивановича армия оставила расписку, чтобы она не отвечала, по дороге зацепили еще барабанщика — и похоронили Большого Человека в родном селе, названием похожем на Осакиевка, — похоронный марш Шопена, части первая и вторая, третью никогда не играли — она сложная, а некуда уже возвращаться — так в Двадцать втором кавалерийском гвардейском имени Суворова краснознаменном появился трубзвод на белых лошадках. Василию Ивановичу не хватило «монголок» — злых, выносливых и маленьких, кусачих, умеющих лягнуть и передними копытами, ему достался не шибко видный «иранский» конь, потому что инструмент его, альт, «не авторитетный», он и ездить не умел — уже не признаешься, на рыси «иранец» его сбросил и протащил за ногу, вывернув сустав — до сих пор нога и болит! — полк двинулся к Цимлянской, но переправу уже разбомбили,

кто умеет плавать — плывите, кто не умеет — за гривы лошадей, выплыло сорок пять человек, уже с другим полком они поехали по степям, трубвзвод выступал сразу штабом, играли, если позволяло соблюдение военной тайны, только на закате, выступая из станицы, поводья заправляли за ремень, лошади сами понимали, куда идти, — по полчаса, часу командир взвода взмахивал рукой, для маскировки выдавали чехлы — мешки с отверстиями для мундштука, зимой еще полагался спирт — протирать клавиши, освоили хоровое пение, добавилась скрипка, а один малый из спортсменов показывал пляски; на смерть уходили другие, а они — хозвзвод, химвзвод и трубвзвод с ненужными саблями на поясе — держали лошадей, по семь штук на рыло, и чесали, скребли — два часа утром, два часа днем, час вечером — вот что они ненавидели в войне; ни репетиций, ни свадеб, ни танцев, играли еще только, когда хоронили начальство, да и как там хоронили — выроют при штабе яму...

В декабре уже нечего жрать, одна гнилая капуста, голодали отчаянно, он запомнил, как расстреливали пленных — румын, итальянцев и мадьяр, их некуда было девать, некому кормить, они и промышляли, чем могли, залезая в погребка к местным. Пленные плакали, показывали фотографии детей, но — вот что поразило альта — никто не убегал, все стояли на месте, хотя знали: вот она, смерть. Еще играли на митингах, когда отступить стало некуда,

а страшного десятого ноября старшина велел труб-
взводу идти на берег Хопра и вдруг добавил: «Без
инструментов»; они шли, как неживые: на передо-
вую? На берегу, где до войны устраивали гулянья
и танцы, полк встал буквой «П». Трубвзвод, ничего
не соображая от страха, выстроился, как привык —
поближе к штабу. Оказалось, что возле стола, по-
крытого красным, в двух метрах вырыта яма. Член
трибунала прочитал приговор «самострелу» — оче-
редному узбеку, выстрелившему себе в ладонь
сквозь намотанное полотенце. «Самострела» со свя-
занными руками подвели к яме два конвоира. Пол-
ку скомандовали: «Кругом! Шагом марш!», все от-
вернулись, но все видели, как какой-то майор по-
дошел к «самострелу» сзади и ударил ногой под
колени так сильно, что тот повалился и встал на ко-
лени, и два раза выстрелил в затылок.

Василию Ивановичу повезло: когда погнали труб-
взвод хоронить командира танкового полка, верхом,
сквозь простреливаемый лесок, альту Пырочкину
минометным осколком разворотило спину, и никто
не остановился, скакали дальше играть марш «Сле-
за» или «Спи спокойно», а барабанщик (иногда брал
и тарелки) Боря Чернов умер под Изяславлем: есть
там какая-то ничтожная речушка, повели купать ко-
ней, и злая «монголка» прихватила Борю за спину;
две недели полежал — и скончался.

На Эльбе принесли учить гимны — французов,
американцев и англичан, и сводный оркестр в сто

пятьдесят человек грянул, завидев маршала Рокоссовского, и тут началось братание, трубвзвод, конечно, немного опоздал, но Братищеву повезло выловить и склонить к обмену «не глядя», из кулаков, какого-то американца: американцу достались немецкие одноразовые часы, «штамповка», выбрасываемые при первой неисправности, а Василий Иванович получил роскошные часы с розовым, да еще светящимся циферблатом и гнутым корпусом, напоминающим по форме кузов автомобиля «Победа», — в Уразове эти часы понравились многим.

Он, еще один — Иван Никифорович Антипов — отселен отдельно от детей, внуков, правнуков, сидит в черных джинсах, дурых сапогах, черной тюремной шапке, рубашка застегнута до последней пуговицы в глиняной «кухоньке», каморке, похожей на тюремную: печка, кровать с висящим на гвоздях вместо ковра покрывалом, полка для посуды, веревка наискосок для просушки полотенца — индеец в резервации, «так жили русские люди в 1949 году», хата кажется нежилой, но он здесь живет, каждый день ложится здесь спать:

— Радиом живую! Анархия! Богатые всё увозят за границу. Алмазы, золото. Рыбу! Прохоров какой-то — триллионы забрал и уехал. И какому-то королю дал займы тридцать девять миллионов евро! А тот не отдает. Говорит: знать я тебя не знаю. А какой контроль был... Конюха проверяла ревизионная комиссия: двадцать хомутов, вожжей... Как так

получилось, что пропала лошадь Бархатка? Конюх им и отвечает: чего вы, не знаете, что ей было двадцать лет и хомута с нее не снимали все двадцать лет, ни днем ни ночью? Вот она и пропала. А так — да кто ж ее обидит? Во — контроль! После войны — жомки зерна не было посеять, а прошло два года всего — и хлеба поели. И всё прахом... Колхоз назывался «Искра» и больше никак не назывался; помню первый выезд в поле: первые, присланные из Питера, несли на жердях «Вся власть Советам», а следом шли местные и пели «Все как один умрем»...

Он уже готов к полету. Жутко ввалившийся рот, седые заросли вокруг глаз, выпученных с такой силой, что уже не смогут закрыться — только лопнуть и исчезнуть, черно-синие губы — похожий на инопланетянина Иван Никифорович уже готов к отправке на родину, к звездам; всем нам придется когда-то влезть в эти морщинистые, поросшие сивыми космами скафандры.

— Давно уж началось. Завел председатель три огорода да три пасеки — телефон у него не умолкал, вот так: клал, и он опять звонит, и никому не откажешь — валуйское начальство! Каждому — ящичек к ящичку: помидоры, фляги меду, яблочки. И ни копейки не платят! Я на весовой после войны в садах, заезжает бывший командир партизанского отряда Тихонов и Афоня из горисполкома. Тихонову потом путевку на курорт дали, он там под поезд попал и помер от гангрены, подстроили,

наверное. Машинка у них небольшая, «ГАЗ-61». Завесь, говорят, Иван Никифорович, нам яблочков три мешка. Я бумаги в трех экземплярах подготовил и смеюсь: сделаю вам скидку на десять кило, вдруг какое яблочко сомнется... Тихонов меня в сторону повел: а скажи, Иван Никифорович, часто к тебе на весовую заезжают всё честно оприходовать? Я ответил: вы — первые.

Учился плохо, отвлекали коньки и лыжи, река Верхний Моисей разливалась и замерзала ровно «как стекло» во времена, когда небеса стонали от птиц, а в каждом дворе бегало по пять детей, и все ходили оборванными... Улицы, переполненные народом, балалайки, мандолины, он запомнил, как года за два до войны в тени забора сидели небритые прохожие деды в холщине: «Скоро немец пойдет на нас...» — «Откуда ты знаешь?» — «А разве не видишь?» — «Тогда... Это не война будет. А перевод народа. Не первый раз это. И опять сволочи задумали. Посмотри на улицу: детишки оборваны, взрослые в болячках, деды и бабы ходят в лаптях — нас девать некуда! Нам куска хлеба не хватает дать в руки!»

— Когда немец подошел, нас, ребят двадцать четвертого и двадцать пятого года, военкомат пешком погнал в сторону Ольховатки чи Кантемировка: трофейная машина с военкоматом впереди, а мы бегом следом, от самолетов отсиживаемся по ярам и кустарникам, на гору поднялись — а никог-

да не забуду, — военкомат встал на подножку и крикнул: «Ребята, ночью выброшен десант. Впереди — немцы. Спасайтесь, кто как может!»; мы — в рожь, во такая стояла, по грудь в то лето, а за рожью — овраг, а в овраге — криничинка; похоронились, слышим ночью — по грунтовке обоз идет немецкий, а разговаривает украинец: «Моя жинка...» — мразь бендеровская! Сидим, а что делать?

— Вызвался один мальчишечка, такой же худенький, как и я: я сбегая в хутор, узнаю у бабки. Через полчаса вернулся: пошли! А что там? А что бы ни было — надо идти.

— Выходим. Хуторок вот так стоит вокруг озера — как оно называется? — хатки с соломенными крышами, а по-за озером немцы коней купают и сами плавают, лежат на воде. Мы — шаг за шагом, по-за оврагом, девять нас было, никто на нас внимания... Вышли за озеро, ветряк там стоит или два, лошадь лежит бельгийская, куцехвостая, такая, что тонну бери и уходи, на мину наскочила, и мухи зеленые над ней, дорога идет по степи, широко, без колеи, пробита обозами, идем, а я смотрю (у меня зрения хорошее, я и ночью вижу за километр) — там, далеко, человек стоит. Руки за спину завел. И ноги расставил. Идем, идем, а это — немец. Один. И на нас смотрит. Мы немного правее берем, чтобы обойти его, — идти-то нам как раз ему за спину! Обходим потихоньку, я последний иду и вот так рот раззявил...

Иван Никифорович растянул страшный беззубый рот и показал, как подсолнухом крутилась его голова.

— И оборачиваюсь на него. Он вдруг вот так: ком! Сам парабеллум из кобуры вынул и показывает мне опять: ком! — туда, идти туда — а там, далеко, я присмотрелся, в метрах четырехстах еще один немец стоит точно так же, а еще подальше — крупнокалиберный пулемет на треноге, еще немцы прохаживаются и какие-то люди — в форме посветлей, наши! — копают яму, и я тихонько так туда и иду, а ребята вперед прошли и там подальше остановились: что со мной будет? А следующий немец отмахивает: не надо, пусть уходит. Мне первый опять: ком! Пистолет прячет: ком! — уходи. Мне бы идти, а ноги не идут. Сейчас мне в спину и выстрелит?

— Догнал ребят, и гадаем: смерть себе эти люди копали или еще что, а потом крупнокалиберный дал три такие длинные очереди, а потом — несколько выстрелов из пистолета. Посмотрели мы друг на друга и побыстрее молча потюхали.

— Немцы стояли в Шушпанове и в Мандрове — они знали, где встать, ты их не учи!

— В Селиванове — от каждой хаты по человеку — на сход! Я подхожу — уже с двадцати метров — райский запах! Небось, французские духи у офицера. Два мотоцикла с люльками, ручные пулеметы, машина со снятым брезентом и рацией. Говорил немец с нашивками и крестом. А с ним переводчик. Бабы сразу определили, что наш, вид-

но, помещичий сын, видно по йому. Он людям вот так глазами показывал: молчите! Имел, выходит, сочувствие к народу. Деда выбрали старосту — партизаны его расстреляли. Выбрали другого — его простили. Уходили немцы, мы и не заметили: каратели ушли яром, без потерь, а итальянский корпус лег весь в Зенино, итальянцы лежали, как снопы, эшелонами увозили в плен обмороженных, про итальянцев плохо не скажу...

— А немцев — ненавидели?

— Я их и доси ненавижу, — спокойно ответил Иван Никифорович, — уходить на фронт страшнее было, чем воевать. Думка одна: пусть или ранят легко, либо сразу убьют. Лишь бы не калекой. Мать дала с собой сала, коржи, пол-литра топленого молока, а тут пришел сын лесника Коля Девкин: пойдём, отец нам что-то напишет. У лесника нутро было поповское. Он любую процедуру вместо попа мог провести, в церковь приходил, сразу на колени. Написал мне лесник молитву. «Живые помощи».

— Привезли нас в Гороховецкие лагеря, где учили артиллеристов. Моя специальность — ВУС-10, «разведчик-артиллерист». Жили в землянках с песчаным полом. Блохи заедали так, что расчесывались до коросты. Вот там мы поголодали... У нас капуста белая, а в Горьковской области — зеленая и горькая. Нарубят, затирку сделают из муки и варят в казане — тонны на три. Если в тарелку два-три кусочка картошины попадет — счастье! Картошка такая мелкая, что ее и не чистили — там не-

чего чистить! Мимо ехал мужик на телеге, телега наполовину — картошкой, мелкой как орех. Все как бросились на него, хватают по десять штук, сколько рука... И в рот сырую суют, а мужик — а никогда не забуду — то нас кнутом, то по лошади, то нас... Отбился кое-как.

— Я сейчас худой? Тогда в пять раз худее был. Как в концлагере. Ноги уже не подымались. Видишь, я встал? И ноги поднимаю.

Иван Никифорович легко поднялся и исполнил несколько шагов, подымая высоко колени, как астронавт из мультфильма на планете со слабым притяжением — планета и впрямь уже не сильно держала его.

— А у нас ноги — не подымались, не могли с песка в землянке ноги вытащить. Зовут на построение, а мы по песку, как сохой... Выводят учить матчасть. А чего ее учить: у пушки две станины, щит, панорама, ствол. Сорок пять минут стоим. Пятнадцать сидим. Падают человек, спит. Его поднимают, а он не может подняться. Вывезли куда-то в «артцентр», а там и землянок нет, спите кто где может — под кустами! Приезжают «покупатели»: мне надо двадцать огневиков, три радиста, два телефониста, а тысяча глоток орет ему, тянем руки: меня возьми! Меня!!! Стоим в очереди к кухне. Очередь как от хаты до речки. Знаешь нашу речку? Осталось человек пятьдесят, повар объявляет: обед закончен. Я уже не мог ходить, решил: ночую у кухни, чтоб хоть завтрак мой...

— А утром подходит до меня один офицер, младший лейтенант или лейтенант. Но не старший. Молодой, упитанный. Всё на нем новое — кобура, портупея: за мной! Как немец тогда. Еще одного такого же остановил и прислонил ко мне. Увел в сторону к какой-то хатенке, а в ней окна и двери тряпьем заделаны и одеялами, и достает из новой сумки противогаз: умеешь надевать?

Учили.

Надевай, иди в хату, а когда зайдешь, откроешь маску с правой стороны и дыкнешь.

Противогаз мне помог надеть, пилотку сверху насунул: давай!

Я зашел, дыкнул и — упал.

— Очнулся в медсанбате на топчане, под головой подушка соломой набита, руки, ноги трясутся, из меня хотят кровь взять, а кровь не идет, какая там кровь — во мне сорок килограмм осталось. А в хате той боеприпасы с фосгеном хранились, и, видно, у лейтенанта были подозрения, что уже не целы они... Может, он из немцев Поволжья и хотел убить русского солдата?

— Лежу, думал: кончусь, а кричат: Антипов здесь? Пусть собирается! Я и встать не могу. До вагона под руки дотащили и подняли и бросили внутрь. И поехал я воевать.

— А у меня зубы начали желтеть и крошиться, без боли, с этого фосгена... Что?

— Это от хлора. Фосген при нагревании разлагается на хлор и еще одну ерунду.

— Я внимания не обращал, пока не прислали американские «студебеккеры», и я первый раз увидел себя в зеркале. Один за другим зубы и повыпадали. Двадцать один год — ни одного зуба!

— Как раз дугу сдвинули, и мы — в сторону Харькова, выгружаемся, грязь, в полуторки впрягли свои 76-миллиметровые, а они сдвинуть не могут. Какой-то умник предложил: а давайте снаряды повынаем из лафетов, погрузим в полуторки, а лафеты бросим — полегче будет. Ну и что — проехали за день пятьсот метров, и то — руками толкали. Вот тут и подошли два эшелона со «студебеккерами». Они по документам две с половиной везут, а по жизни — пять нагрузим, колеса наполовину в грязи хоронятся, а машина — полным ходом идет, спереди лебедка, сзади трос — красота! Наш водитель Семейкин отчаялся: да я с ним не совладаю. А ткнул в кнопку — машина и заиграла!

— Как начинается атака? Окоп рыли полукольцом и жили в нем, это офицерам — землянки; спишь так спокойно, если даже мины рвутся, — привык. Заря начинается, дождик, обычное утро. И вдруг — артиллерийско-минометный огонь — шквал! Потом — вот они! — самолеты. Начинают месить. Терпишь. Железным становится человек! А тут-то и гляди — проверили прицелы? Самое главное — «тигры». Танкетка — ерунда, а «фердинанд» — черепаха, близко не подходит... А вот и побежала пехота, кто пехом, кто на лошадях, кто поумней —

старается вокруг нас окопаться, и начинается — ищи перекрестьем прицела и жми на гашетку..

— Я пережил трех командиров батарей. Чехлова увезли в госпиталь и не знали: выжил ли? С Миткалевым нас бросили в прорыв в Венгрию, помню табличку «До Будапешта 181 километр», осень такая, сухо, тепло, казаки впереди, ими командовал Плиев, я ему раненому воды подносил: «Антипов, воды генералу!», и перед нами луг такой ровный, и разведка казачья ничего не нашла, а сразу за лугом они и вкопали свои 75-миллиметровые... И нас в упор. Старшина таким басом: «Антипов, сходи к казакам, попроси красной материи. Надо комбата похоронить с почестями»; три метра нам и дали — столбик обтянуть. Мадыяры яму выкопали. И третьего — Бобырева, это когда мы у недостроенного кирпичного завода стояли, а «тигры» шли напрямки через кукурузное поле.

— С Бутенко дружил, хороший был у меня друг с Пушкарки, попали под бомбежку, он в стог запрыгнул, а я не добежал. Очнулся — лежу в траве, кругом разрывы, а я встать не могу, щупаю под собой — рука в крови. Наверное, меня убило. Еще щупаю, а это сок, земляника. И стал я эту землянику есть, срываю и ем, ни о чем не думаю, но очень вкусная попалась — а стог так и сгорел с Санией Бутенко. Это меня первый раз контузило. А второй — едем, комбат: «Антипов, займи свое место!» Я же дробненький, ложусь между фар «сту-

дебеккера», ракетницу в руки — наблюдаю за воздухом, а батарея лезет в кузов под брезентом, вплотную уже к деревне подошли — летят, я дал три красных ракеты и — кто куда, бить-то будут по машинам. В крайнюю хатенку, вроде летней кухни, человек пять за мной, упал у стены, а немец ударил почему-то по хатам, меня сдуло и прилепило к другой стене, вижу: рамы повисли, потолка нет, немного подождал: это я живой, наверное. Руками шевелю — не болит. Ногами шевелю — не болит. Тихонечко приподнимаюсь, переступаю через двух убитых, наружу вылез и головой кручу, как дикарь, не могу вспомнить: зачем я сюда побежал? Ребята машут: сюда! Кричат: ты что, глухой? Я их матерком. Они: иди в зеркало гляди. Я залез на подножку — круглое такое зеркальце было, — а у меня барабанная перепонка лопнула и через щеку сукровица бежит такой лентой; но в санчасть не пошел, ничего, второе же ухо осталось.

— Поглядел я: куда там нам лезть до них? Крыши нет под соломой, нету полов земляных. Всё под красной черепицей. В каждом дворе свой колодезь, и тот под черепицей. Кафель! Улицы вымощены. Танк идет — аж искры! У нас асфальт наляпают, раз проехал, и уже ямы. На кой черт мы им нужны?! Весь мир против нас, и финны, эти рыжие гады.

— Отпустили меня только весной сорок шестого, в отпуск. Бригада пошла на стрельбы с тысячи двухсот метров по «танкам», да какие там

танки — транспортер доски тащит на канате, и надо с пяти выстрелов поразить пять мишеней, что в бою невозможно. Наш отстрелялся лучше всех — мишени, заготовленные для трех полков, поразил, и приказали: отличившихся — в отпуск! Двенадцать дней.

— Подхожу к проводнику. Куда прешь беззубый, у меня полон вагон! А как же мне? А ты что, не знаешь? На крышу полезай! Я полез, а там уже человек пять лежат. И так на каждом вагоне — и гражданские, и военные. Поехали, глядим: кто-то идет по крышам, двое. Один в офицерской форме, с пистолетом. Бандиты, деньги забирают, красненькие были тридцатки. На ходу прямо — с вагона на вагон. Один, что с нами ехал, говорит: ребята, помогите, я схвачусь с ними. Мы молчим — как можно схватиться? Лежим. Они к нам перепрыгнули: пулю в лоб или деньги отдавайте. А наш как головой ударил офицера! — тот кубарем с вагона, а на второго мы уже все навалились и задушили.

— Пешком шел с Валуек до Селиваново, уже в Майском почуял: мертвечиной несет... Апрель, всё тает, земля пускает пар, а в ней столько мертвых уже... Захожу в обмотках, дырявых ботинках, дырка на правой ноге была, зубов нет, глухой на одно ухо: отец лежит, мать, сестра еле живы, в лохмотьях. А у меня даже трех кусков сахара с собою нема. С фронта я привез две пригоршни вшей и пехотную шинель, длинную не по росту, ее в руке

можно было переломить, из грязи и пота сделана. Моя-то шинелка подрезанная была, но в ней уже три дырки от осколков. Ребята кричали: Антипов, ее в музей пора. Я смеха ради скидаю — да забирайте! Они — цап! — а мне вот эту длинную от старшины несут, а она еще хуже.

— Отец: ну, Ваню я дождался; и — помер, похоронили, и я — назад, в Харькове пересадка, бродячий мир такой на вокзале — ворье, мошенники, каждый на кусок хлеба хочет заработать. Посадка в десять вечера, света никакого, только у проводника в руке фонарь вот так вот качается, на входе в вагон давка, каждый же хочет получше устроиться, да и проводник будто специально пассажиров тормозит; я в вагон вломился, вон — вторая полочка свободна, как хорошо! Напротив — свободно? — сержант устраивается. Шинели снимаем, и он ахнул: документы вынули! Красноармейскую книжку? Да книжка — чепуха, я же из Болгарии ехал, пропуск за границу пропал — не пустят меня! Я ему: эх ты, а я вот тут во храню — руку сунул: нету комсомольского билета и двух наградных корочек нема! Сержант расхохотался: а ты?

— Прибыл, докладываю командиру: украли билет. Рассматривали на бюро полка. Собрались, сидит такой строгий майор Матвеев, начальник политотдела. Сняли стружку, как же так? Ты где должен был билет носить? Вот, у сердца. Тебе объясняли? Объясняли. Почему не исполнил? Чего ж ты вот

тут вот у сердца карманик не пришел? Ну, чего бы ты от нас хотел? Да билет новый выпишите. Нет, этого не может. Я подумал: да мне он сто лет не нужен!

— И тут отправили нас в баню и вещи собирали на прожарку — вшей битком набито было! Очищаю карманы, всё повилягивал, а это что такое? Листок какой-то. Развернул — а это молитва «Живые помощи», что мне отец Коли Девкина дал; как она была в четыре сложена, так и распалась в моих руках на четыре лоскута, и ведь помогло: и я остался жив, и Коля — даже не ранило!

Он, кажется, всё рассказал, вот последнее:

— Женился, с женой прожили с 1948 года, а четыре года назад померла. — Он пообещал кому-то верным, надежным голосом: — И другой у меня не будет. И всё болел — желудком мучился двенадцать лет, всё кислоты какой-то не хватает, а потом почки начали отказывать...

Мы выходим во двор, приехавшие с заработков внуки заносят в свой, соседний, где есть телевизор и горячая вода, дом баулы с базарными радостями, правнук не отрывает глаз от диска с надписью «Аватар».

— Что это вы рано? — удивляется Иван Никифорович.

Ему никто не отвечает; из Чехии его батарея возвращалась своим ходом и за Братиславой, поднявшись километров на двенадцать-пятнадцать, встала

«на пополнение», майор Дорофеев, такой москвич, кликнул: «Антипов, на бандероль, неси в штаб бригады, вон, — в замке», солдат Антипов увидел замок английского князя и наглядеться не мог: ворота вот так разделаны, ограда обслуживается проводом в три шнурка, крученым таким, под током, и сверху порядочная кабина стоит для электрика; за забором стояли рядами подстриженные кругло акации вокруг бассейна большого, во дворе лежал каменный лев, изо рта его чистая вода била в такое каменное корытце, а в нем рыбки плавали небольшие, а под низом тина морская, это питание им. Антипов зашел во дворец и крутил головой: вон сам князь на портрете на чистокровной лошади и с саблей, — но одолел всего три ступеньки, а по левой стороне уже кто-то топает навстречу: вы из 192 полка? Отдал пакет, но уйти, оторваться не мог: в левом крыле штаб, а что в правом? Отворил — библиотека. Агромальная. Прилавки полированные, как в магазине, тянутся. Книгами — забито! Отдельно лежит черная книга, бархатом обтянутая, и крест выдавлен на всю крышку, еще такая же — коричневая, еще — синяя, и последняя — белая. Открыл он книжку — написано не пойми чего, карябуки какие-то мелкие, листы прямо сыпятся из рук. Ребята потом сказали, это бумага из листьев была, папирус называется. А книги, должно быть, — «черная магия», таких книг как раз четыре на всем белом свете.

Как привязанный — не мог уйти. Стоял и смотрел на замок этот, на ворота, а тут подходит старичок в гражданском, по-русски калякает: русский солдат интересуется замком, понимаю. А старичок этот, как пояснил он солдату, оставлен князем ухаживать за электричеством и беречь добро, и всё ничего, да цыгане обижают, а вон и домик его, где проживает со старушкой. Антипов оглянулся: домик виден, и абрикосы вокруг него растут — вот такие! Старушка вышла в белом фартуке, наложила в фартук абрикос и несет: кушайте. Антипов взял штуки четыре и только тогда повернулся и пошел до своих, уже навсегда.

Потом в клубе показывали кино «Тайна шифра», и вдруг Иван Никифорович увидел — тот самый замок, и вскочил: «Я же здесь был! И на купол лазил!», ему пробурчали: давай посмотрим, а потом поговорим.

Кто-то сказал Антипову, что после войны в этом именно замке собрались все правители (и даже Гитлер был), чтобы решить, что же все-таки делать с Россией, но ничего, в общем, не решили.

— Больше не приходи, — внезапно говорит он; я остался на дороге, покрытой голубыми лужами, слыша только капель, деликатные коротконогие собачки обегали дворы, словно члены какой-то секты, я думал: без яблок — в яблоневом краю, сторожа яблоневые сады, Антипов, выходит, за все последние шестьдесят пять лет не съел, не укусил ни

одного яблочка, ни «белый налив» не грыз, ни «мельбу» — что он вообще мог есть, какой вкус... оставили ему... Но это уже — никому не важно.

Сын Каракулова, отставник, почитал мои документы, «много тут разных мошенников ходит...», и только потом пошире распахнул дверь с табличкой «Уходя! Выключить — Газ, Свет, Воду!», предупредил:

— Отец вас почти не видит, только слышит, — и остался в комнате, на случай провокаций, куклой на кресле, манекеном.

Сгорбленный ношей и аккуратно расчесанный, Павел Илларионович прошептал:

— Как часы, — хотя я опоздал на две минуты, задержавшись на погрузке мешков с плиточным клеем и затиркой; он смотрел всё же на меня, в сторону лица, но правой рукой держался за женское фото в рамке, водруженное на середину стола; отец его пришел с империалистической без правой руки, а на левой осталась клешня — мизинец да безымянный, но всё умел делать: топор привязывали ремнями и — рубил; а сын девятого января сорок третьего отправился пешком до Канска в черном овчинном полушубке, валенках, брюках из байки и бараньей шапке и в школе сержантов получил взамен старую буденовку, ботинки, обмотки, и бушлат, и ремень — наполовину брезент, наполовину кожа.

— Учили переползать, атаковать... Ни разу не видел, чтобы то, чему учили, пригодилось. Пехо-

та — не дай господь. Смертники. И детям своим закажу...

На войну ехали три недели, больше шли, потому что рельсы взрывали (они думали — немцы Поволжья вредят), и при высадке в Невеле их разбомбили так, что два дня собирали всё, что осталось от двух школ, — распределять по частям времени не оставалось, наступал вечер — время атаки, какой-то офицер отыскался и повел их в бой, на пути наступления попалась цистерна, и старослужащие не двинулись дальше нее: что же в цистерне? — пробили: спирт! — кто наливал во всё, что мог, а кто так пил, рты подставляли, вперед, за танками, дальше побежали только они — молодые сержанты; немцы развернулись и пошли навстречу, отступали до исходного и еще, еще, под гору — и сколько они еще раз потом ходили эту гору брать, что в последний раз шли уже не по земле, а по трупам. После первого боя живыми остались единицы, их уже расставили по отделениям.

— В отделении девять человек. Туркмены да таджики. Один только русский пожилой с пулеметом, он выпить любил и однажды наш ужин опрокинул, когда шел с кухни. У меня автомат, у солдат винтовки, им нельзя автомат давать. Смотришь в кино, какие они, узкоглазые, бойкие — и дерутся, и басмачей стреляют, ловко бегают, а у нас самое тяжелое — поднять в атаку. «В атаку, вперед!» Сколько ни кричи — никто не думает поднимать-

ся. Разозлишься до ужаса и — пинками! Огонь интенсивный, а тебя такое зло берет.. А если уж выскочат — не ложатся, так и бегут вперед, как деревянные — пока не убьют; атакуем же ночью, а у немцев почти исключительно трассирующие пули — всё видно... И в часовые их нельзя ставить. Как ни приказывай — уснут обязательно. Или я дежурил, или пулеметчик.

— Мы — пехота, сброд. Живем в окопе. От дождя веткой укроешься, откуда там плащ-палатка, я каски сроду не видел... Комбат — он далеко, в тылу, ротный поближе — в землянке, комзвода тоже норовит в какую-нибудь нору забиться... С одним комзвода, думал — застрелит меня. Редко видел его на передовой, всё в норе своей с санинструктором... Подбили наш самолет, летал-летал над позициями немцев, а потом задымился и упал в метрах ста перед нами. Комзвода тут же прибежал со своим санинструктором и содрал с мертвого летчика кожаную куртку — хорошую! — и свою нарядил. А она — рада-а... Ребята подбежали: снимай, мародер! А он за пистолет и — на меня. Я говорю: что твой пистолет, я очередь дам, и ты — решето. Спрятал он пистолет. Но куртку не отдал.

— Немцы близко, от нас на два броска гранаты. Когда тихо, матом их крыли. Они листовки бросали — спасибо, хоть бумага на курево, а то каждый день давали полпачки табаку, хорошего, американского, а бумаги нет... Я справку о второй контузии

даже скурил. Когда немцы собираются в атаку, галдят, шумно у них. А мы атаковали почему-то всегда вечером. Если раздали сухой паек на сутки, колбасу в банках, сосиски — всё американское, значит, в атаку. Съедалось всё сразу: умирать, так сытым. Останешься жить — с убитых пайку возьмешь. Атака — верная гибель, пространство впереди всё пулеметами откашивается, и минометы накрывают. Бежишь — и ничего не чувствуешь, не смотришь, кто рядом упал. Немцы не очень-то побегут — стойкие. Особенно когда танки у них. И окопы капитальные, с досками, печками, не как у нас — тятляп... Даже в плен они с достоинством шли.

— Почему же победили — мы?

Павел Илларионович молчит, потом:

— У нас патриотизм всё время. За Родину. Русские умрут за Родину. И все нас ненавидят... Проходили Белоруссию — выжжено, одни трубы торчат, в Прибалтике — всё цело, как не воевали... Ворон ворону глаз не выклюет!

— Пехоту не хоронили: мы — или вперед, или назад. Чтобы хоронить, надо остановиться, все своих хоронили — и артиллеристы, и моряки — мешками в море, и танкисты... А пехоту хоронили, если умер в медсанбате, тогда клали в ямы штабелями и записывали номер, в каком ряду, а на передовой оставались по ямам лежать; трофейщики должны были хоронить, но им главное было пожить, снять с солдат всё, чем пожить можно...

— В Прибалтике — ад, они уходят, мы наседаем, техники нагнали с обеих сторон, огонь страшный, самолеты бомбят, а нас ночью свели в яр: сдавайте экзамены в офицерское училище. Площадь круга! Кто там помнил ее? Но так были счастливы вырваться, с каким хорошим настроением ехали на Урал... Ух и замерзли мы там... и молнией еще двоих убило; когда после войны вызвали в Москву и через особый отдел предложили Киевский округ, сразу согласились — с удовольствием! В Москве вон как тепло, так в Киеве наверняка еще теплее. Конечно, едем! Только удивительно, что полковник сказал: я вам, ребята, четверо суток на дорогу выписал, в Киеве хоть погуляете напоследок — что это за прогулки такие? И еще, что фуражки нам голубые. Я их и не видел прежде. Смотрим, в вагоне сидят двое в таких фуражках, мы подсели: что такое? Они: а-а, так это вас, ребята, на борьбу с бандитизмом, на Западной Украине бендеровцы батальонами ходят, с танками, а мы и ни сном ни духом, что воюют на Украине, уже и слушать их дальше не хотим, отвернулись друг от дружки, и сидим молча, и гулять по Киеву не пошли — ну нет никакого настроения!

— Приехал я в Коломыя, Ивано-Франковская, бывшая Станиславская, область, зеленый такой город, асфальт — пройдешь в сапогах и не замараешься, груши и абрикосы по улицам, встал на квартиру; утром выхожу во двор — женщина в черном сти-

рает, голову подняла: «Будешь командовать взводом моего брата. Его убили. Загоняли его по рейдам... Я приехала его похоронить и вот подрабатываю на обратную дорогу». На войне я смерти не боялся — я же не лучше всех, не святой, одинаковая судьба народа, а вот с бандитами воевать стало страшно, даже ранения боялся, пули они как-то обрабатывали... Никто не хотел в наши войска. Уже на все рода войск разослали разнарядку, отбрыкивались как могли. Особенно моряки. Кого пришлют силком — либо убивают сразу, либо в штрафбат.

— Служба такая — разведывательно-поисковая группа идет по району, оперативник МГБ с нами, с агентами шушукается, и бандиты идут по району. И ходим. Друг за другом. Западнянцы — забытые, затурканные. Глупые люди! Нас они боялись. Но бандитов — больше боялись! В деревню заходишь — хаты под соломой, огородов нет, живности нет, стены — глина, пол — глина, по семь человек детей, вот так скамейка, вот так сундук вместо стола. Только я не помню, чтоб на сундуке ели. Из кукурузной муки намят тесто густое, заварят, раскатают, ниткой кусок отрежут, спиной к печке вот так станут и макают кусок в миску, где брынза, — так едят. Дети бегают в одних рубашках. Зачем вам столько детей? Ночи длинные, керосина немає, вот и колупаем.

— Ночевать старались у проверенных, остановились в семье, уже не первый раз, три сына у них,

я всегда ложился на лавке за сундуком, а тут лег на постель — спят на соломе и укрываются перинами. А старший сын возвращался с гулянья и в родную хату — гранату бросил! Меня перина спасла, а он еще из автомата в окно, хорошо хоть сержант-татарин, хоть и сам ранен в плечо, его положил, а тут уже с трех сторон начали поливать, хата глиняная, ее покрошить ничего не стоит, спасло, что ракету пустили и соседние группы пришли выручать...

— Нужны были результаты, убитые... Не было результатов — крепко ругали. Ночевали в селе — длинное такое, пятнадцать километров тянется. Утром вышли, пока роса, и кругом обошли — вроде следов на росе нет. Развернулись цепью и двинулись через бугор, а за ним поле и лес. Мне приспичило до ветру, я отстал. Справился, штаны на место вернул, вышел к поваленному дереву, как-то вот так боком лежит, а за деревом — два человека лежат и пристально за нашими наблюдают. Встать! Руки вверх! Вскочили. Но оба без оружия. Что делаете? Худобу пасэм. Действительно, в сторонке — две коровы. Но уж пристально смотрели. Я одному: бери коров и уводи. Второму: идешь с нами. И пошли по тропе, и вдруг солдат старый показывает: следы, вроде кто-то шел перед нами. Я гражданского подвел: ну, теперь что скажешь? Хтось шел, а бильше не знаю. Ладно. Дальше идем — картошина валяется, несли, видно, в ведрах и просыпали. Чую: здесь! Начали щупами землю проты-

кать. «Товарищ лейтенант, шуп ушел!» Только оцепили, а уже люк в земле открылся и — вылетела граната. Щелчок, а взрыва нет. Мы им свою гранату в люк, и она взорвалась. Под землей какое-то движение, но никто не вылезает. Сазонов, цыганенок, мне говорит: звук какой-то. Да и сам слышу: будто камень о камень кто под землей ударяет. Еще гранату? Обожди, я раскопал в траве ихнюю отдушину и в нее — две ракеты! От них такой едкий дым — никто не выдержит. Дым из люка валит, но не вылезает никто. Сазонов, полезешь? Полезу! Тихонько спустился, пошарил: три человека! Живые? Вроде нет! Достали: двое мужчин и женщина молодая. Все убиты выстрелом в голову. Пистолет был только у старшего группы, он всех и положил.

— Ко мне эмгэбэшник подходит: слушай, сегодня тридцать первое, давай заночуем здесь, а трупы на рассвете повезем, чтобы уже первого числа. У нас в этом месяце и так хорошие результаты, пусть эти на следующий месяц пойдут, чтобы нам легче было. Подъезжаем утром к штабу МГБ, а там никогда не спят: где были? Почему на связь не вышли?! Да вот, после полуночи столкнулись с бандформированием. Результаты есть? Есть. Сколько? Трое. Где они? Да на телеге, где им еще быть. Недели через три идет совещание по результатам — не забыли! — начальник говорит: давайте договоримся — убили сегодня, сегодня и везите. Не так, как некоторые!

— Думаю: женюсь. На Западную Украину девок в армию навезли со всей страны, девки наскучались. Но не получается. Схожу с одной на танцы, в кино, а завтра опять в горы лезть. С гор спущусь, а она уже с другим ходит. Решил: поеду к себе в деревню, возьму честную. На десять дней получил отпуск и — женился. Взял смазливую, десять классов кончила, а сели в поезд, она с солдатами шуры-муры, а на меня — хоть бы что. Думаю: да-а, пропаду я с ней.

— И не ужились. Послали меня на учебу в Саратов, а ее я обратно в деревню отправил. Она села в поезд: всё, наверное? Я так аккуратно: проживем — увидим. И с этой, — Павел Илларионович ради этого смог поднять голову — поднял голову и ткнул пальцем в старое фото женщины, в стекло, на которое кто-то наклеил серебряные листочки, уже облезшие; он заплакал, на груди женщины я разглядел брошку — черный камешек, а вокруг в золотых лапках «жемчужины» — такая была у моей мамы и еще у миллионов женщин, переселившихся в старые фотографии; за окном задула пурга и колотила жестью по соседской крыше, снежный ветер, дым несло слева направо, а снег бешено и косо летел вниз, качались ненатянутые провода и слепо, молитвенно и размашисто наклонялись и разгибались ветки деревьев, — так резко, словно ветер и снег кто-то включил, а потом так же внезапно переключил на «солнце», и потепление

развесило по карнизам серые соски дождевых капель, и удивленно распухли почки; надо бы исключить из русского языка вот это вот — «наступила весна». «Настало утро». И особенно — «народное волеизлияние».

— В столовой училища ее заприметил. Замзаведующая. Постарше меня. Окружение прошла. И замужем была. Но это я потом узнал. Мария Ивановна. Говорю командиру взвода: поставь-ка меня дежурным по столовой. Раз подежурил, два... Говорю: так и так, ты мне нравишься, что ж ты, это самое... Она говорит: а с какого ты года? С двадцать пятого. У-у, сопляк, а я с двадцатого. Я: у-у, далеко ушла, но мне сгодится. После этого стала она ко мне присматриваться, а я понастойчивей стал, настойчивей, и спуска не давал, ближе, ближе... Я в казарме живу, она в землянке, а уже беременная, это мы в баню ходили, и — сошлись. А развода мне не дают, и из деревни пишут, что жена — родила, а от кого? Председателю партийной комиссии, майору Мария Ивановна тоже нравилась, просил, чтобы она ему всегда на стол накрывала. У него как раз жена умерла. Жениться он не хотел, только переспать. И — на меня дело завели, собрали бюро. Я майору говорю: вы же на ней не захотели жениться, потому что она малограмотная, пренебрегли! А я схотел! А вам теперь обидно? Выговор с занесением в учетную карточку — и отчислили, поехали мы опять бандитов бить. Горько нам было,

я говорю: карьеры у нас уже не будет, вечным буду командиром взвода. Она говорит: да ничего. Согласие у нас с ней было по всем вопросам, — он косится исподлобья опять на фото засочившимися глазами, наклоняется чуть вперед так прицельно, словно видит перед собой маленькую такую дверку, в которую надо так ладно попасть, чтоб не задеть, ничем не зацепиться, к нему подходит родня: да ладно тебе, пап, — словно он плачет из-за какой-то ерунды, некупленной игрушки, из-за того, из-за чего смешно плакать.

— И по новой... Шли рейдом по селам, что на границах районов. Хороший дом, большой, на окраине стоит, двери на замке. В окно позаглядывали — никого. Ну, оставим под занавес. Офицеры уселись под окошками на бревнышке, как воробушки, солдаты в траве лежат, курят. Подтянулись взводы, что сверху улицы смотрели. Ребята, смотрим этот дом и — шабаш. Замок сбили, соседнего деда приволокли, он первым в комнаты заходит — порядок такой, сами не шли. Если солдат привел девчонку, чтобы первую ее на чердак запустить, то — обязательно ее обработает. Солдат наголодался, а девчонка промолчит.

— В комнатах никого нет. Чердак высоко, а лестницы нету. Наш сержант: уходи, дед, в сторону, подтянулся и заглянул на чердак — его очередь прошили, так он и остался там. Из чердака сквозь солому начали стрелять во все стороны, и мы стре-

ляли, пока крыша не загорелась, выгорело всё. Четыре трупа. Четвертый — наш.

— Уставали... Бандит перебежал, донес: на горе соберутся все командиры — до тридцати человек. Три роты собрали и двинули ночью с трех направлений. Никогда так спать не хотел. Иду и сплю. Встряхнусь — не помогает. На рассвете вышли к высоте, и лес закончился, залегли, уже началась стрельба слева, а сделать ничего не могу — слипаются глаза. Третья рота высоты перепутала, и все бандиты ушли, на соседей слева двое вышли, они их и положили. А на нас — бежит прямо на нас девочка в белом коротеньком платьице, а мы смотрим, меня разбирает сон, сил нет; добежала и бросила — никто и пошевелиться не успел — лимонку Ф-1 для поражения лежачих целей в радиусе ста метров — от нее спасу нет. А граната — не взорвалась. И автоматчик — как он выцелил? — прямо ей в лоб очередь, такая дыра, что кулак пролезет.

— На горе целый бык на вертеле, самогону, закуски на неделю... А у нас результатов — двое и девочка. На три роты.

Он еще хочет сказать, что чувствует, когда видит бандитский трезубец на гербе Украины и цвет ее флага, но говорит о счастье. Павел Илларионович Каракулов, уроженец Красноярского края, счастлив:

— Обижаться не на что. Дети у меня. Есть хлеб и приварок — и хорошо.

Место бомбоубежища на Стрелецком яру обнесли оградой, и отслужили молебен, и, может быть, даже поставили крест; говорят, в какую-то весну в открывшуюся яму провалилась корова, и желающие могли видеть подземный ход с покосившимися подпорками и трупы, и дед какой-то лазил посмотреть беременную дочь и внука Мишку, а какой-то смельчак ночами раздевал трупы и барахло носил на привокзальный базар, желающим донося: «Там все стоят» — так тесно было, все жались друг к другу, теперь это место называется «Памятник номер шестьдесят семь» — можно представить, сколько в Валуйском районе мест, где по-братски, штабелями, рядами лежат наши.

Профессоры пишут, что Оренбургская одиннадцатая кавдивизия освободила Валуйки ясным солнечным днем — лихой кавалерийской атакой; на самом деле в начале четвертого ночи девятнадцатого января начали бить пушки возле нефтебазы и на Пушкирке, через пару часов стреляли только на Завалуе — отдельными очередями. Утром нахмурило, и на весь день. Немцы уходили по Вейделевскому шляху, но зацепились за железобетонный элеватор (он и по сей день стоит дырявый и страшный, кем-то выкупленный, но еще не отделанный): элеватор вскоре окружили подбитые танки — наши и немецкие. Мальчик Саша вызвался показать дорогу танкистам через Красовку и Новоездоцкую, и танки прошли в город, двадцать четыре танкис-

та и Саша легли в братскую могилу на привокзальной площади.

Я прохожу за кинотеатр, оставляя слева школу, в стене которой замуровано письмо потомкам, тем, кому повезло дожить до столетия Октябрьской революции, — кто-то ведь откроет, и придется читать; прохожу меж памятником валуйским «афганцам» и могилкой красного комиссара и останавливаюсь на обрыве за серым кубом — памятником павшим в Гражданской войне, на котором уже больше не написано «Педоры», давно бы пора поставить что-то примирительное и белым... Ничего не могу поделывать, как хорошо, что такое место для меня на земле одно, я ничего не вижу, всё расплывается, лопается, страшная русская жизнь облаком, дымом стремится растечься (всё пробовали — подмораживать, разогревать, ничего не помогает) — вот-вот, и кончится, пропадет, и я стою на месте, где когда-то над нами, над теми, кто будет «нами», сойдутся во встречном движении и примирятся джипы Чеченской Республики и трудолюбивый шестой и седьмой миллиарды китайской саранчи: нас больше нет, вон они — были и ушли, оставив на развилках свои пушки и танки, задравшие в небеса свои хоботы, и врастают в землю на серых плитах, и здесь, испуганно взглядывая с единственных фото, с напряженно поднятыми плечами, в единственных своих костюмах, боясь улыбнуться, чтобы не открыть беззубые рты, ставшие слов-

но малыми детьми, на лицах которых так легко читается дальнейшая судьба, о которой мы знаем, словно спрашивают: всё? Мы же всё сделали? Мы больше ни в чем не виноваты? Никому больше не нужны наши кривые от пахоты мослы? Мы ведь никому не должны? Я не могу видеть, всё тает, и на заваленном слоями пивной тары откосе проступают террасы городского сада, по реке, едва переваливающей поваленный телеграфный столб, опять плывут пароходы, опять жив сапожник с Казацкой, подбивавший подошвы кленовыми гвоздиками, и на месте гостиницы — еще только ее котлован, и на земляной горе рядом с ним дети смотрят, как оставшиеся в живых ветераны Первой Конной идут верхами памятным маршем с Краснодара в Москву, а вот и котлована нет, и виден городской собор — простоявший семьдесят девять лет, день в день, такой собор, что кирпичей его хватило на пожарную каланчу, второй этаж валуйской тюрьмы (в ней сейчас налоговая), тюремную ограду пятиметровой высоты, Дом обороны, где размещалась воинская часть, и интернат для умственно отсталых детей, вон деревянный райпотребсоюзский магазин на месте администрации, с которого ежегодно опадает плитка, опять крутятся цепочные, и в сирени возле танцверанды «вокзальные» в очередной окончательный раз выясняют отношения с «казацкой», вон идет боевой летчик Василий Иванович Шляхов, дымит сигареткой, помрет от огорчения,

когда в первые свободные годы выруют его огород, дед Уколов, не снимавший офицерской фуражки, служивший «стражником» при немцах, дядя Гриша Поляков, одноногий Петр Сидорович, Потанин — и валуйские балконы, и с каждого выступал Троицкий — наше прошлое... И мучительный вопрос двадцатого века «могло ли быть по-другому?» всё чаще сменяется бессильным «лучше бы вообще ничего не было, чем так...», никакой твердости, надежды, всё тает и здесь, в общенациональной идее о «достойном вознаграждении» и мечтах о призвании «честных немцев»...

Я прошел по жаре всю Федеративную — никто из встречных и не слышал о памятнике над бывшим бомбоубежищем. Существенно покосившийся памятный знак стоит на небольшой террасе, на мертвой, меловой, серой земле, редко поросшей чертополохом и полынью. Знак прилично выкрашен и украшен стихотворением. В глубь холма уходила дыра, затянутая паутиной. На окрестных стройках завывали пилы. Какой-то «коммерсант» уже здорово подкопал гору для установки магазина. На него ходили жаловаться в военкомат: как можно — на костях? Но — всё можно.

Так странно: стою в ста метрах от улицы Карла Маркса, родных мест, и — никто меня не знает. И вдруг я заметил старуху — ее вынесли подышать в какой-то люльке, и она манила меня рукой: спустись.

— Я знаю, кто ты, — она подняла усиленный очками взгляд, — Медведев, значит, тебя послал узнать, сколько нас осталось?

— Нет.

— Жалко. А говорят, он наш, мать из Алексеевки. Как думаешь, подкинет нам что-нибудь?

— Нет.

— А ведь работали за палочки. Хлеба «крючком» косили, чтобы люди не подошли. А теперь жалуются — чижало, чижало, — передразнила она отсутствующую невестку или невесту внука, — за столом весь день просидят, и — чижало. Чижало — было.

Поехали; я вглядывался в знаки, свидетельства высшего разума, в железнодорожное устройство. Металлические коробки, лестницы. Освещенные лампами двери. Для чего-то понавешенные провода. Слышался перезвон на переездах. Люди в грязных желтых и оранжевых жилетках стояли, сабельками подняв флажки, на табурете у деревянного допотопного вагона сидел степенный путеец и блевал в щебень себе под ноги.

Леф и мыф

Ты? Я. А где?.. Он же больничный взял. А, тогда — ты, готовь группу, работа есть на ночь, поднимись ко мне, звонил начальник, отставить — сиди, к тебе Инициатор сам зайдет.

Инициатор со стершимися о людей глазами перечислял положенное (готовим мероприятие по захвату с поличным, ориентировочно в половине первого), загибая пальцами правой пальцы левой (деятель, ФИО, торгует наркотиками, вот по нему будем работать, фото посмотришь?), последний палец, большой, Инициатор даже подергал и покрутил, словно проверяя: крепко сидит (дерзкий, увлекается единоборствами, способен оказать сопротивление), не пора ли менять?

— Сколько всего в адресе?

— Деятель и жена. Она, похоже, тоже при делах, — ловил мой взгляд бумажкой БТИ: «двушка», кухня, коридор — посмотри! — таких, как Инициатор, я люблю, у них на морде написано: «Я урод, сейчас буду обманывать», — природа предостерегает, нанося страшные узоры на спины змей и ядовитых жаб, по коридорам управления ходит изогнутым, словно подстыл на сквозняке, посмотришь: пьющий инспектор из налоговой. Но умеет становиться страшным.

Я взял Вову глянуть адрес.

Горотдельские ждали у мехового салона в «нисане» с тонированными стеклами.

— Хрен ли вы мне даете?

— Это лампа дневного света. Мы в подъезде вырубili свет.

А я типа электрик. Вова страховал, не пойдут ли за мной, а я — высчитав окна, запомнив, где пожарная лестница и где поставить одного на случай зафиксировать выброс, — поднялся с первого на шестой, проверяя связь: вроде устойчиво, но лучше не включать — нашей связью весь дом перебудим, и — спустился на четвертый: дверь в отсек — дерево и стекло, а вот у деятеля — квартира двадцать шесть, дальняя, что в торце, — железо. Да. Если покупатель выйдет, а хозяин успеет захлопнуть — ломать оснований нет.

Поехал лифт. И — ко мне! — я отвернулся на всякий... вот они, лампы и черные провода, хо-

тя почуял: не наши клиенты, соседи — рыжеволосая женщина, наряженная в брюки и пиджак с табличкой на груди — с работы домой! — тягала из лифта пакет за пакетом и бросала себе под ноги, еще успевая прикусывать мороженое — так ей не терпелось: как девчонка! — какое-то нереальное, белое лицо, даже впотьмах ослепленное солнцем, чем-то намазала, что ли? — прямо сияет кожа, вообще-то такие красивые в панельках не живут!

Я показал на мороженое:

— Дашь укусить?

— Укусить не дам. Только лизнуть, — отперла застекленную дверь.

Я бросил лампу, нагнулся к пакетам: помогу! — и оценил: ноги как ноги, но крепкий зад; вот ночью удивится; Вову придется вот как-то там ставить, посреди коридора, а я в нишу, за электрощитком, плюс двое у лифта и двое у мусоропровода, в заявку Инициатора: группа захвата — шесть; рыжая не побоялась чужого, вот спасибо, настоящий мужчина, бросайте прямо здесь, на кухню я сама перенесу; наличие детских вещей и отсутствие мужских, прошлась еще: да, зад, конечно. Зад у нее существовал как бы отдельно. Отправлялся следующим поездом. Видишь, на работу в форме, типа билеты проверяет. Или улыбается за стойкой пацанам, заселяющимся среди дня на пару часов с какой-нибудь Кристиной.

— И так каждый день?

— Кроме понедельника, — улыбнулась, забирая пакеты, подошла так близко, что волосы ее душно скользнули по моим губам. Откуда она приехала такая веселая? Кажется: всегда у нее легко на душе.

— И это есть счастье?

— Я бы не сказала, — не спросила: у тебя, что ль, лучше? — она ж не знает, кто я; баба как баба, но красивая, чистенькая, волосы до плеч, только белокожая очень... Но что-то возбуждало в ней: уверенный тон, мужская одежда, как по-доброму — открыто — взглядывает... Когда узнает, кто я, — возьму телефон, можно будет раз в недельку заехать. Голод я почувствовал рядом с ней, или потому, что незнакомую бабу в сумерках сразу хочется прижать; она рассмеялась над собой:

— Извините, что я так по-деловому одета...

— Ничего, я ж замуж не зову.

— А вдруг я пойду? Почему вы со мной так некрасиво поступаете?

— А вы кто? Девушка, которую часто обманывали? Женщина, живущая как в лифте: ее везут, она в тепле, в безопасности, но никуда не вырваться? Женщина, которой приходится за всё платить самой? Рабочая лошадка на пашне? Одинокая, но есть щедрый друг? Или измученная мать? Верная жена, которую мало ценят?

— Нет, — качала она головой на каждое, заглядывая в зеркало, чтобы убедиться: какой он меня видит? — Нет!

— А... С кем?

— Ни с кем. То, что я не верная жена, еще не означает, что я уже с кем-то, — и другим, коснувшимся моего нутра, мягким и болезненным голосом она сказала: — А вы забавный.

— Часто влюбляетесь?

— В этом году — только раз. Во врача скорой помощи. Но быстро прошло. Как только он сказал, что ни у кого не видел такой хорошей кардиограммы.

— Пойду чинить свет.

Рыжая выглянула за мной в коридор, уже сбросив пиджак, белая рубашка:

— Почините — я вас поцелую.

Так сказала, что я вышел из подъезда обезумевшим, спросил горотдельских:

— Электричество когда включают?

— К-какое? А... Мы просили часа на два. А чо надо?

— То есть прямо сейчас не включают?

— Именно сейчас? Вот прямо сейчас? — краснели оттопыренные уши. — Брат, вот так чтобы прямо сейчас — маловероятно...

Хрен его почему, но я так резко почувствовал себя счастливым и встревоженным, как в прыщавое, первоначальное, тяжелое, но весеннее время, как в те затертые годы, когда деревья были выше, словно в жизни моей что-то случилось. Хотя не случилось ничего. И обернулся на дом. Там она живет. И не мог успокоиться и выпроводить из себя уверенность: не просто так, что-то сегодня же

случится и продолжится; выдвинулись в половине первого и лежали в автобусе, Вова рубил и жег в айфоне вампиров: «Сектор зачищен. Вперед, вперед!», «У меня проблемы, Френсис!», «Перезаряжаюсь!»; когда Вову загрызали, становилось слышно, как слабо ноют заточенные в автобусе комары; ждали, луна стояла в зеленом облачном ободке, а вот ободок растворился, и вокруг луны оттаяло сердечко чистого неба; лишь бы не отменили — хуже нет.

— Чо вырядился? — Вова подмигивал ребятам — обсуждали, видно, мой черный комбинезон штатовского летчика и новые собровские полусапожки с мягкой подошвой. — И без броника! Перед кем это? А я, значит, в спецовке! — пихали в спину. — Зачем кобуру на ногу прицепил? Спишь? Шалабан ему в лоб сделай — проснется!

Инициатор проверил, как выставились горотдельские, и подсел к нам:

— Для вас сигнал на захват: выход любого человека из квартиры. Кто бы ни вышел. Как вы решили?

— Вова типа чинит лампу, на стремянке. Дежурный электрик. Я — там вот такая ниша, я в нише. Вова принимает покупателя, я — хозяина. И заходим на плечах.

— Электрик в час ночи?

— А ты что предлагаешь? К соседям ломиться? Дверь взрывать? Как берем? Жестко?

— Чтоб заговорил. Там деятель — из начинающих. Сам не употребляет, бизнес решил...

— Эн-пи-эйч-си зет шесть девять семь три, ответьте Хьюстону. — Инициатор воткнул наушник поглубже — поржали! — но он принюхивающееся нахмурился, и настала тишина новая, как посреди ночи после разбудившего грохота падения, когда всё вокруг начинает звучать и двигаться, хотя ничего не видно и не слышно ничего; Инициатору говорили: нарисовался клиент, курит, направился к подъезду, поднялся на лифте на последний этаж — проверяется — на ближней стройке бетонная плита криво пересекала кусок неба, медленно поворачиваясь, как заварочный пакет, которому дают стечь; лучше всего, конечно, было бы как-то ее спасти, я видел ее лицо постоянно и чувствовал, словно заболеваю, лицо горит, стоит у подоконника, говорит по телефону? ни хера не видно! — во, начал спускаться, начинается дождь, готов: в адресе.

Инициатор хотел повторить «в адресе», но все уже раскатывали маски на лица, совмещая прорези и глаза, пошли, пошли, почти каждый день, привыкаешь с годами, а всё равно остается какой-то азарт, мы — наконечник копья, сила: нагибаем любого; на лестнице между вторым и третьим я оглянулся на бегу: за каким?.. дебилы! — зачем кувалду?! — между третьим и четвертым показал Вова: эти... тащат кувалду — там железная дверь!!! — Вова отверткой уже откупорил стеклянную, в отсек — нижние по-

казали: ты ж писал в заявке! — я писал «болгарку», пилить, о господи! — да поставьте вы ее на хрен!!! — я прокрался в нишу и вытер ладони, Вова, сам над собой прикалываясь, расставил стремянку и не мог определиться: ставить ногу на нижнюю ступеньку, или нет, или взяться рукой; вот она, дверь рыжей, особенная дверь, спит, проснется, что я это — вон какой; как немой, руками: Вова, а ты знаешь, что у тебя на спине написано? А? «ООО “Сантехника”»! — электрик, блин — я же не сам! что дали; левой он взялся за стремянку и замер как бы спиной к двери, но вполоборота в нужную сторону, и рассматривал лампу: одна мигает, вторая не горит, у лифта — бабах! — упала кувалда и — ручкой! — я сглотнул и единым, долгим, коротким, изгибающимся движением вытащил пистолет, стрелять не люблю, но вот ощущения в руке... запах... и, продолжая это начавшееся, но поползшее давно движение, равное по скорости течению крови во мне, мигавшее, как лампа, так же плавно открылась дверь, как во сне, когда вдруг открывается то, что не должно открываться, кусок земли посреди поляны, но ничего не делаешь, знаешь: сон — клиент из наглых, в желтой, около тридцати... метр восемьдесят два, жевал, качал челюсти, выходил быстро, но замер — на Вову, электрик не обернулся, все-таки поставил ногу на ступеньку, жертвуя опорой, клиент поверил, а вернее — по инерции, с разгону шаг, второй, огибая, и — змеиным выбросом Вова отправил в него

правую, с равнодушной силой, которой безразлично, куда попадать — всё прожжет и приварится, и повалился на клиента сверху, я уже держал дверь и ударил пистолетом — вскрикнувшую морду! — завалил хозяина за порог, фиксируя руки, чтобы не допустить сброса, налег и держал, через нас заскакивали остальные: лежать! Лежать! Руки чтобы я твои видел!!! — я изловчился и теперь давил коленом на хребет, и пальцы подсунул, нащупал и жал на упругие, резиновые глаза: где товар?!! Где товар?!! Где товар?!! Сейчас выдавлю на хрен!!! Хозяин хрипел... Не слышу!!! Вова: одного — ко мне, жвачкой подавился — сдохнет! Удар, удар, да плюй!!! Клиент харкнул и завопил: жгет! Ой, как жгет! Вот этому точно не впервой. И женщина закричала, что-то мы сегодня не успокоимся, на кухне — чисто! — мой не разговорился, только мычал от боли — жгет!!! — Вова, да выведи ты своего, на хрен, что там у тебя? Да у него шприц был в нагрудном с какой-то кислотой! Разбилось, его и жгет! Понятые качались стоячими утопленниками, дежурные рабы подрядных организаций, мученики ночной торговли, дежурный следок выставил на середину комнаты стул, Инициатор уже вел по квартире жалом, женщина, жена в каких-то спортивных тряпках как-то держалась, быстро-быстро шепча, — вы там смотрите за ней, ничего там не глотают? — но все сквозь дикий ор смотрели почему-то на меня, я еще добавил хозяину пистолетом по голени:

— Нормально сейчас будем разговаривать. Не борзей, понял?! — Блин, а кто же у нас тогда вопит?! А-а, я-то: что там липнет к воротнику, за меня хваталась — я обнаружил, бешено оглянувшись, — в адресе еще ребенок!!! — девочка в пижаме, лет шесть, как моей, цепляла меня с цыплячьей силой, шлепала: на, на, на тебе! Да возьмите ее от меня!!! Никому, конечно, не... уже ослепнув от визга, визжала так, как... когда счастливы и убегают: догони! — просыпайтесь, этажи! — и трясло ее — так она меня боялась, но все-таки пересиливалась и цепляла меня своей лапкой, вытянутой, чтобы — как можно дальше вот от этого безлищега ужаса ночного, с черной головой с вырезанными глазницами, хлестала, сжимая кулачок так, что видно: была уверена, что и я сейчас в ответную засажу, но всё равно — за папу! — сейчас повалится, судороги и сдохнет от разрыва мозга!!! Всё остановилось, споткнулось во внезапном понимании, что сделалось не так и придется с самого начала. Инициатор?! Откуда? Он что-то такое: не должно... Этот детский вой! Меня бьет. Ничего не получилось у меня! Не будет! Хоть одного надо было взять в форме, чтобы — дядя милиционер, полицейский!!! — надо, чтобы успокоила ее мать, но матери вырвали язык, руки только раз ее поднялись и опустились, ее не подпускали к девочке — мало ли что захочет передать ребенку, чтобы та выбросила; она орала и резала каждого, крик выходил не

свободно, а преодолевая какие-то дырявые фильтры, пробивая влажные, лопающиеся навсегда необходимые для жизни преграды в ее маленькой груди, и вдруг хозяин задержался, заелозил под моим коленом и заорал поверх всех:

— Настя, это снимают кино! Это кино!!! Это не по-настоящему. Это кино! Мне не больно! Это снимают кино! — опытным, густым голосом. — Мы снимаем кино! — выбрав, что подействует наверняка, знает свое отродье. — Настя, это кино! — девочка остановила руку на замахе, захлебнулась и раскрыла на полную рот, широченным зевком вбирая и вбирая, втягивая воздух, и теперь тянулась обнять отца — дай! — одной рукой, а второй закрывала лицо от меня — страшный! — Я не мог вытащить себя из ощущения несправедливой беды, будто девчонку мы эту сломали, и к утру ее не будет, жизнь ее стала другой, и лично моя жизнь — также... и чтобы хоть что-то — содрал маску!!! — и:

— Да я добрый! Да я в стольких фильмах играл! — все наши расступились и глядели на меня, как на психа. — Ты что так поздно не спишь? Вставай, — и хозяин поднялся, плешивая башка, тяжеловатые плечи, бизнесмен херов, мокрые от слез щеки дрожали, он улыбался вовсю:

— Настенька, ты что так испугалась? Ну?

Она — посреди всего, не понимая еще, что неспроста отец и мать не обнимают ее, — дышала так, словно подержали ее под водой крепкие мя-

систые руки, и теперь не могла надышаться впрок, не открывала глаз, словно стояла во тьме, во сне — одна, и так дышала: и-ых, и-ых... Инициатор кулаком повернул морду хозяина к себе:

— Ты чего на него смотришь? Запомнить хочешь?! Вот сюда смотри! Девочка соседей знает?

— Настя, лучше тебе пойти к тете Вике!

— Все успокоились, — объявил я. — Давайте снимать. Настя, будешь мне помогать? — я умею с детьми, папа! — Садись, — подставил колено и глядяще провел по пижаме: чисто. — Главного героя — на этот стул, спасибо! Проверим, как звук... Скороговорочку. Ткач ткет ткани на платки Тане? Попробуй, Насть. Ну, нормально. Только надо с вопросительной интонацией: ткач ткет?.. Теперь вы!

— Ткач ктет кт... — у хозяина распухла и кровила верхняя губа.

— У папы хуже. А каждое слово — петься должно! Может, вам руки мешают? Давайте попробуем без рук.

Ему завели руки за спинку стула и надели наручники.

— Ко всем обращаюсь. Эй, внимание там, осветители! Попробуем снять сцену с первого раза, чтобы не задерживать съемочную группу. Текст: тоже скороговорка, начинаете вы, — на Инициатора. — Расскажите про покупки? Герой как бы недоумева-ет: про какие про покупки? Хотя сразу понимает, о чем идет речь. Вам поясняют: про покупки, про

покупки, про покупочки мои! И вот тогда вы показываете: вот там. Вас спрашивают: всё? Вы вспоминаете: нет, еще есть! Насть, ты что, еще боишься меня? — и девочка доверила мне руку, рука ее слабо сжималась и разжималась в моем кулаке, как небольшое, не выросшее еще равномерно бьющееся сердце. — А мы сейчас с тобой пойдем спать, чтобы не мешать папе сосредоточиться...

— Я посмотрю. Я хочу посмотреть! Папа!

Удивительно: мать ее стояла вмертвую — конечно, при делах.

— По телевизору увидишь. Завтра и покажут.

— По какому каналу?

— По взрослому. Поздно. Но мама тебя разбудит. Тебе теперь все обзавидуются. Папа — актер. Круто! Сериал — семь лет показывать будут! — я коснулся загривка хозяина, и он мигом включился:

— Иди, иди с этим главным дядей, мы будем снимать, а ты иди — поспишь... — и далось ему потрудней. — Ты нам мешаешь.

— Давай без дублей. Раз — и сняли, — я спросил Инициатора: — Грим не надо наложить? Синяк там или пару зубов выбитых? — Еще нагнулся к хозяину: — Не будет получаться с первого раза, если пойдет «я не знаю, о чем вы...» Тогда можно попробовать, что у героя сломаны два ребра. И не надо лишнего, типа у меня жена беременна, а мама больна, и нужны были деньги на лекарства...

Девочка стояла рядом, держалась за меня; моя, конечно, красивее, хотя все дети красивые, это потом начинают меняться, терпеливо замирала, как замирают воспитанные дети, когда начинаются взрослые разговоры, непонятно сливающиеся слова, скучая, уставая, но гордясь тем, что их не отправляют спать. Воспитанная.

Мой план выхода: посадить, обуть, накинуть теплое на плечи и какую-нибудь херню типа игрушки с кнопками, но маленькому стулу в прихожей при заходе переломали ноги, он стоял косо; чтоб без новых слез, я подхватил девчонку на руки, сам удивился, как легко и сразу обхватили руки мою шею: раз взяли на руки, значит — не делают зла; надо разъяснить своей: протянет лапы чужой — беги!

— К тете Вике.

— А папа кого играет? — она по-взрослому вытирала лицо, ладонями, одновременно, от переносицы к вискам, словно умывалась.

— Разведчика. Который хочет помочь добрым людям.

— А мне показалось, вы очень злые.

Я вздохнул; рыжую предупредили, но всё теперь не так, она никак не могла собрать лицо в обычные пределы и удержать, вела трясущейся рукой: в этой комнате спят, лучше сюда, в «лучше сюда» светило только прямоугольное компьютерное небо в экономную аккумуляторную мощност, ложись,

скоро мама придет, мама; девочка легко пошла к рыжей, угадывая в той стороне больше надежды, и сразу тихо заплакала там, я ни разу не взглянул прямо в ее лицо, мокрые кудри на висках, розовая пижама, а визг я забуду, я ждал того, чего уже не может быть на кухне. Вслушивался: утешающий шепот на испуганный шепот, и заново, опять, о, надолго — рыжая запела. Я опустил на табурет. Начну, если дождусь, так: извините, что без разрешения. Внизу по улице, чуть подпрыгивая, шел зонт сумасшедшего собаководы, прокатывали редкие машины по нарисованным стрелкам.

Она вышла вежливая, свежая — что бы ни случилось дома, даже если супруги бьются или бабка померла, к посторонним, разносчикам пенсий, к примеру, всё равно выходят с «у нас ничего особенного», чужие страдать не должны, это только родных не жалеют.

В халате, прозрачном, мне казалось, что, опьяняя меня, просвечивают соски, что я вижу пупок, маленький и аккуратный, как арбузное зернышко, а может, и ничего не просвечивало, на дополнительно умытом и отстранившемся белом лице выделился рот, как отдельно живущий орган, язык выскальзывал и сворачивал то налево, то направо, разглаживая углы губ, смотрела как в стену — не узнала, что ли, меня?!

— Починили электричество. Можно целовать, — зря я, но ничего. — Испугалась, Вика? Думала, на-

силовать будут? А то мы однажды... — нет, лучше не рассказывать. — А тут — работает оперативно-боевая группа!

До нее с запаздыванием доходил звук, или она подождала, пока ей переведут с моего языка на ее невидимые синхронисты, и вот только потом:

— Да. Было очень страшно. Особенно потому, что ведь до этого всё было тихо. Обычная ночь. Всегда думаешь, что, если тихо и закрыты двери, ничего не может со мной, — но обернулась и взглянула на комнату, в которой спали. — Настя так кричала, просто... Как...

— Избаловали ребенка.

— Еще так страшно стонали там, там, посмотрите — там, — «там» у нас стоял автобус. — Там тоже что-то случилось?

— Там наш Вова. Объяснял слабослышащему, что добровольная сдача предметов, запрещенных к обороту, будет являться смягчающим вину обстоятельством. Чай поставишь? — почему-то я заикался.

— Любите работать? — рыжая не приближалась, словно кто-то придерживал ее за шею.

— Знаешь, какой драйв! И десять дней к отпуску, — я шлепнул себя ладонью по груди. — Женат. Есть ребенок. Здоров.

— Разведена. Двое детей.

А грудь как у молодой.

— Квартира твоя?

— Бывшего мужа. Он умер, наркотики. Всем говорю: хоть что-то хорошее для детей сделал.

— Значит, встречаться будем у тебя, по понедельникам, в твой выходной? — почему не попробовать, а вдруг что-то можно еще... и ничего, что я показал лицо... я поднялся и сам пошел к ней, а вдруг девчонка заснула или побоится выйти, потушим свет и вставлю по-быстрому, и ей радость — изголодалась; сам себе удивлялся. — Что-то я влюбился в тебя. Все признаки налицо: голос дрожит, сердце бьется.

— Есть одна проблема.

— Не побрита, «дни» или «я — лесбиянка»? Шутка!

— Я хочу еще двоих детей.

— Это не ко мне, — что-то я не решался обнять и просто нависал, расправляя пошире плечи. — Замуж тебе надо? Но поправить материальное положение можно не только замужем. С твоими, — я показал: грудь, бедра, — это вопрос решаемый.

— Замуж выходят не только ради этого. Есть еще кое-что. Столько уродов вокруг..

Вот ненавижу, когда умничают: все ж такие, как я, одинаковые, каждый клиент — всего лишь несколько мест для удара бейсбольной битой, соединенных вместе, только некоторые похитрей, папы-мамы у них профессеры, или начальнички, или денег подняли и устраивают своих в теплые места, обучают непонятным словам и дурят нас, русских

ванек. За непонятными словами всегда или ничемность слабого, или хитрости до хера.

— Хватит. Иди ко мне. Давай! Да ладно тебе, она спит. Ну, чо ты? Иди. Ну!

— У вас текст есть? — она выбралась из моих рук.

— Какой?

— Я не могу, когда нет текста.

— В смысле, прелюдия какая-то нужна? Куда-нибудь сходим, посидим.

Она вздрогнула — прикладом автомата стукнули в дверь: уходим.

Я — гляди: обиделся! — без «до свиданья!» живо двинулся на выход, да пошла ты на хрен, таких... Это тебе надо! Дал время пожалеть и только от лифта обрадовал:

— Виктория! — изобразил рукой мобилу возле уха. — Телефон свой напиши. Пока лифт подымается. Может, позвоню когда-нибудь. Видишь, не все уроды-то!

— Не надо.

— Удобней на почту? Спишемся! Адрес!

Нет. И лифт приехал!

— Стучись тогда сама, если будет скучно. Может, наедет кто.

Даже «нет» не сказала, просто закрыла дверь и замок — вот ...!!! — там, где она от меня укрылась, сразу залопотала девчонка: вопросы, вопросы, мама, папа... Не заснула.

Так в лифте мне обидно стало, что больше не увижу рыжую. Хотя... Адрес же есть. Куплю цветов... Денег можно подбросить... Сразу будет мне простыни греть. Но денег понемногу. А то присосется. Выгодней, конечно, — подарки детям. Думал. Но понимал, что думаю сейчас про какую-то другую. Не про нее. Рыжей Вике почему-то я на хрен не нужен. Ждали, когда к подъезду допятится наш автобус: прохожу? Задеваю? Да посмотрите кто-нибудь! Руль прямо. Зеркало!!! В хвою надо мной сквозь фонарный свет влетели две горлицы, уронили широко завращавшееся перо, просверлившее до земли воздух, и сидят там, наверное, голова к голове, как на открытках; а не развестись ли мне? — под этими словами у каждого нора в подвал, куда всё стекает да копится; к мусорным бакам перебежала, перетекла крыса, я следил за ее копошениями так внимательно, словно крыса выбежала из меня — из осеннего подземелья на летний ночной свет; отец девочки Насти стоял на коленях, ожидая погрузки, прекратив существование, осталось сопение.

— Книжки читали? — спросил я наших, Инициатор предлагал клиенту выбрать бутылку: пиво, водка, шампанское — что тебе вставить в зад? — либо засаживал по морде книгой из домашней библиотеки потолще, как говорил учитель: «В сыске как в сексе — ничего нового не придумаешь. Физиология не позволяет».

— Почитали. На втором томе пошел в раскол.

— А что вы его поставили?

— На коленках и топал с этажа. Ребята прикольноулись.

Из окна на четвертом — ну так и есть, — подсвеченная ночником, нас всех разглядывала рыжая; под локтем ее виднелось еще маленькое лицо, неподвижное, как цветочный горшок, как приклеенное к стеклу, в окнах адреса свет не горел — но тоже, небось, жена смотрит, лучше бы дочь забрала; я почему-то отвернулся и натянул маску.

— Думаешь: эх, мотнуть бы часок назад и — больше никогда? И никаких денег не надо! Жил бы на хлебе и молочке и был бы счастлив? Просыпашься дома, дочка... Да? Вот и у меня — ничего не заладилось. Вставай, страдалец. Было бы тебе херово в СИЗО... — я никогда не езжу сдавать в СИЗО клиентов, неприятные это процедуры. — Но мы же не успеем тебя в СИЗО, — вот, на этом вздрогнули веки, слышит меня, стало задевать, обнажились еще не выжженные, сохранившие восприимчивость к боли зоны. — Это же кино! Сейчас — самое время! — выстрелит снайпер, бах-бах, — я ткнул себе пальцем в лоб и в грудику заинтересованно подступившему Вове. — Ты размыкаешь железным ногтем, скрепкой, спичкой...

— Шпилькой! — подсказал Вова.

— Наручники, вот этому бьешь по яйцам, этому — вот так держат пальцы в джиу-джитсу, по-

нял, — по кадыку! Вырываешь автомат, очередь по автобусу, потом в подъезд, там всех кладешь, кровь по стенам, с женой и дочкой живо на чердак и на крышу, помашешь зажигалкой, и за тобой — вертолет! И будешь жить в Мексике. У водопада. Или образуется провал во времени! Херак — а ты еще в школе! Или в партизанском отряде у Ковпака! Нет, даже не так. Тебе это всё приснилось. Или — встанет из могилы мать и спасет: кому ты еще, на хрен, нужен?! Еще лучше: ты в плену у пришельцев. Ты — человек, и тебя просто за-слали на нашу планету с исследовательскими целями, тело тебе наше дали, и понимаешь наш язык, а мы вот такие — в панцирях, челюсти, клыки, иглы, шипы, мы — в щупальцах мохнатых, поймали, хотим засадить тебя в этого железного жука... Так самое время читать заклинание, разбивать ампулу — портал еще открыт, планеты выстроились по прямой — и уваливать отсюда на хер, пока не сожрали членистоногие!!!

— Не дала соседка? — понял Вова. — Обалдеть. Даже не потрогал?

— Ну? Давай же! — я ждал и ждал, ждал, ози-рался: откуда же начнется всё вот это вот, ударит слепящий... — Ты чего не исчезаешь? Чо-то не работает? А потому, что здесь совсем другая, такая хер-ровая, особенная планета. Здесь всё это — твое — не работает; здесь только одно: дашь полтинник зеленых следователю, полтинник оперу и десятку де-

журному, вот тогда — капсула, орбитальная станция и — Земля! — бил! не давая отвернуться, пока еще что-то чувствовал бессловесное в ответ, что-то другое, отдельное, не смятое и раздавленное моим. — Всё? Грузите его!

Он пролез в автобус, но сразу подскочил, будто присел на жалящее насекомое: к горотдельским в машину бегом провели его жену; но его быстро успокоили.

— Где нашли?

— В холодильнике, в лед вморозили, три вот такие. — Вова показал небольшую длину и продолговатый размер. — Доз по двести.

— На хрен жену-то?

— В протокол внесли: хранила товар в желудке, ниткой к зубу привязала.

— Всё равно не пойму...

— Слушай, да нам какая разница, это следак с опером что-то мутят, это их игры. Ты-то, красавец, зачем маску снял? Чего молчишь-то? И скороговорки... Откуда знаешь столько?

— Малая занимается с логопедом. Долбит каждый день.

Сдав оружие и переодевшись, после работы сразу не расходились — отмечали в круглосуточной стекляшке напротив управления прямо возле стойки, ребята обиделись, но я не пошел; спать, ночь накопила бессонного жжения под глазами, над крышами теснились черные облака 3D; или все-та-

ки узнать, где она работает, пробить по адресу телефон и фамилию, помолодеть...

Заходил по-тихому, чтоб не разбудить, застыл посреди гостиной — почему-то сильно и свежо пахло табаком, я сразу обернулся к креслу, но с напряжением, словно болит шея: откуда-то я знал, что в кресле кто-то должен сидеть черный, но никого нет, но мне всё равно казалось — есть; у меня дома штык-нож и еще одна удобная вещица — под рукой, чтобы быстро достать, я готов; хотя трудно представить, чтобы в моем доме, а что... заглянул на кухню, двигаясь на цыпочках, чтобы паркет не скрипел (вот беда, если засада в старых квартирах, надо набросать одежды с вешалок и ходить по мягкому), так часто, если ночь работал, да еще если не поешь, бывает вдруг жутко. Я проверил замки на дверях и постоял у глазка. Кажется, что нет. Не сегодня тот день.

Дочь укрыта, торчит пятка в белом носке, я тронул жену за плечо: я дома. Слупил на кухне булку с изюмом, второпях откусив краешек штрихкода, искал в телевизоре успокоения, но на каждом канале показывали родителей и детей, осмотрел двор: много бетона, луна, справа за дорогой — детский сад с группами детей с дефектами зрения, но и здоровых принимают, на прогулку выводят строем по дорожкам, осенью песочницы накрывают колпаками, похожими на купола шапито, а зимой дети строят крепости, хотя, может, им кажется, что строят дома. А летом у них грядки с луком и что-то са-

жают еще. Я вдруг обнаружил, что стою с закрытыми глазами, лег и заснул, и плохой сон: сижу за компом, вдруг гаснет монитор, глаза поднял, но и за окном нету света, резко так стемнело, словно плотные такие тучи нашли, думаю: включить люстру, а потолка и стен тоже не видно, я не вижу ничего, погасло, я убираю руки с клавиатуры, но понимаю, сначала клавиатура пропала сама, и руки не падают вниз потому, что они отсутствуют на уроке, их нет, и я перестаю понимать, но успевал: что пропал не свет, не в смысле электричество, не глаза мои, а просто — всё, в смысле: «это всё» обязательно будет, нет утра, чтобы выспавшийся проснулся сам; громыхание на кухне, дочь опять свои сказки:

— Леф и мыф, — долбила надо мной. — Леф и мыф, — и долго так, с повторами, что лев поймал мышь, но пожалел, разжал когти, пересаживалась поближе ко мне, переворачиваемые страницы ветерком щекотали мне лицо, в лицо бил свет, когда льва сцапали, мышь ему помогла, выгодно делать добро, и выронила книгу мне на морду твердым переплетом!

— Сколько раз говорил!!! Я должен отдыхать после работы! Я предупреждал? Предупреждал?! — поймал ее за вытянувшуюся руку и шлепнул по заду раз, еще — научилась терпеть! назло мне терпит! — и сильней: еще! — добившись, она прокричала сквозь слезы:

— Не надо!

Жена выхватила и загородила ее: ты что-о? Я работаю ночами, работаю, чтобы вы... чтобы вам... И в своем доме не могу.. Обязательно будят! Собери ее в сад! Она кашляет. Она у тебя — всегда! — кашляет; что? — что это она там сказала? Она ничего не говорила. А ну-ка иди сюда: повтори, что сказала. Успокойся! Молчала она. Я, блин, спокоен: что ты сказала там, тварь?! Она сказала, она не про тебя, она просто сказала, сказала, так дети говорят: а мне не больно, курица довольна; когда завтракал, дочь (жена подговорила, подвела, подтолкнула, заставила) подошла и обняла меня, не зная, что надо говорить, я доедал уже, сделай чай, дочь спросила про мое молчание: пап, ты думаешь? Раз молчу, значит, думаю. Обо штом? Не знаю. Но я чувствую, что во мне внутри есть такое прямоугольное помещение, типа небольшой коробки — для думания, но оно всегда пустое, как бассейн, не в смысле, что налито мало воды или вода мутная и не видно, кто там шевелится, а как пустой, незаполненный бассейн, ничего нет; выпил чай, поднял дочь на руки и поднес посмотреть, как начинается день, жена испуганно встала рядом и держала дочь за ногу, словно я могу открыть окно и выбросить. Папа, кто живет в вон тех домах? Как объяснить ей, какая жизнь, как надо беречься, к чему приготовиться? Сказал ей: там живут людоеды.

Кошки

Человек сперва как-то слаб, слаб. Но потом подрастает; и те, кто имеет Цель, усиливаются. И могут противостоять обыкновенным событиям. И даже помочь тем, кто вырасти-то вырос, но Цели в жизни не имел и укрепиться не смог!

Я Бобырев. Наши фамилии еще Пронины, Александровы (на «О» ударение), Калашниковы (с Пушкарки) и Бобыревы. Я Бобырев.

Когда был слаб, я плавил свинец в консервной банке, про Америку показывали наводнения и торнадо — люди сидели на крышах и махали руками вертолетам. Многое, почти всё, значила еда. Подожди, вот поспеет клубника. Поляковы разрешили собрать попадавшие груши. Папа привезет колба-

су из Москвы. Купили немного абрикосов на варенье. У мальчика из класса день рождения, и каждому раздали по три шоколадных конфеты. На Первое мая получим по пятьдесят копеек — купим сколько хочешь мороженого. Я знаю, где растёт крупный боярышник, но придется лезть, снизу оборвали. Картошка. Жареная. Сколько выкопали? На зиму хватит. Вареная. Потолочь? Пюре. Печеная. Не разварилась? В мундире. Что ты только картошку вылавливаешь?! Уже пошла молодая, свою едим. В армии придется чистить картошку. Сходи в подвал, набери...

В хате жил кот. Казалось, он меня любил больше остальных, это же я придумал ему имя. Кот пропал вовремя, как только решили продать хату, пропал правильно — чтоб мы не знали, кто загрыз, от чего умер, и не плакали, закапывая у межи. Чтоб я не видел, как дружившая с ним собака три дня греет брюхом могилу и скулит — собака! — тупик развития организмов, безмозглая, казалось бы, как камень, ну, почти.

Хату продали, осушили озеро во дворе — в озере жили черепахи, а из грязи у берега торчал футляр от немецкого противогаза — газбак, даже не сильно ржавый, в Интернете можно найти за две тысячи; даже дешевле, если полазить по украинским...

Я поднабрался сил, и многое, почти всё, теперь значила любовь к девушкам, а когда еще усилился, главным стало: кто я? Кого продолжаю?

Калачниковых (так при первом Романове называли Калашниковых) в крепости жило шесть: три пушкаря, моженный и кружечный целовальник и два гулящих человека; Прониных — одиннадцать: десять казаков и десятник; а вот Бобыревых — двадцать восемь: солдаты, пять ездоков, восемь станичных атаманов, неясный «вож», владелец пищали, Евсейей, «отличившийся в бое с татарами», и, наконец, Томила — о его смерти написали царю; царю писали обо всем: покосы, павшие кобылы... И царь (или его многоголовые, тысячеглазые подручные), замещая Бога, решал, кто первым начал пьяную драку на краю земли, и чья на самом деле телка с белым пятном на лбу, и — кому жить.

В Томиле Бобыреве я увидел особенно свое, поэтому мне захотелось, чтобы шестнадцатилетний Тишайший (его отец умер в июле от «водяной болезни») прочел своими глазами: «Холоп твой Перфилко Колтовский челом бьет. В нынешнем, государь, году сентября в 4-й день стреляли, государь, из луков в остроге у кабака приезжие торговые люди — курчане Ивашко Антонов сын Каргина да Васка Рыжев. И к тем, государь, курчанам пришел на стрельбу затинщин Ивашка Марков. И учал он с теми курчаны из лука стрелять. И в ту, государь, пору сидел у кобацкого анбару станичный атаман Томила Бобырев. И тот Ивашка Марков того Томилу Бобырева пострелил по голове в висок. И от той, государь, раны тот атаман был жив три дни, а на четвертый умер. А отходя сего свету тот Томи-

ла Бобырев сказал отцу своему духовному, что в депору и прежде того у него с тем Ивашком Марковым недружбы никакия не бывала, а пострелил дево, Томила, тот Ивашка не умыслом грешною мерою. И в том своем убойстве Томила Бобырев того затинщика при отце своем духовном Никольском попе Тарасе простил. И о том, государь, мне, холопу своему, как укажешь?» — вот оно, звено! И я — звено. Я в такой цепи, что ржавчина ее не одолеет; осталось из намеченного для усиления только пункт девять — «нахождение могилы прадеда»; я вернул летописи горбуну, дежурящему в «хранении», и спустился на первый этаж краеведческого музея, где в поисках дороги к самоокупаемости приютили выставку восковых фигур — мальчик Пушкин в сиротской черной форме советской школьницы с застиранным кружевным воротником подпер подбородок кулаком. Нищенка, оказавшаяся Мариной Влади (вылитая Надежда Крупская!), подслеповато, наугад склонилась на плечо Высоцкого — ему на вельветовую коленку прищепкой посадили лампу.

Отдельно за ширмами, страшно подсвеченные, скалились два волчемоордых упыря.

Не ходи!

Но — на цыпочках я прокрался и, отворачиваясь от кроваво-воспаленных глазищ, присел узнать, увеличить свою силу: первый — черным маркером выведено — «Дракула», второй — «Няня Пушкина, Арина Родионовна».

В «Пальмире» — в кафе, где таксисты играли в карты, — я взял пирожок со сливой, почему-то кружилась голова, от усталости, я заметил поднос, заваленный круглыми булками:

— А что это?

Продавщица враждебно взглянула на меня:

— Это булочки такие, бабышки. Для поминок, — у нее из распухше-красного, мокрого носа торчал клочок ваты, слипшийся в кровавый палец, — как говорят, «а мы уже и бабышки поели». Счастливый вы, что не знаете.

Надо запомнить: «траурные булочки на поминальный обед», наискось пошел преждевременный снег, в парке за Вечным огнем, напротив администрации, перед Лениным маленькими молниями полыхали фотовспышки, показывая, где еще на лавочках расположились посиневшие от холода невольницы социальных сетей в коротких черных платьях; на каждое дерево у дороги, на каждый столб наклеили лист бумаги, два я пропустил, но подошел к третьему.

«Аладьин Константин, 19.04.1968 года рождения, 26 мая в 13 ч. 30 мин. ушел из дома и не вернулся. Пропал при неизвестных обстоятельствах. Был одет: светлая рубашка, джинсовые шорты ниже колена, кожаные черные шлепки.

Примечания: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ШРАМ ОТ УДАЛЕНИЯ АППЕНДИЦИТА».

И телефон дежурной части. А сверху: «РАЗЫСКИВАЕТСЯ».

На фотографии малый с глубокими залысинами сидел на траве в одних трусах (отсюда, из жизни исчезнувших людей, под ветром, казалось: как же ему там холодно) и показывал тазик с жареными окорочками так невесело, словно его поймали с краденым — всё теперь казалось странным под крышей «Разыскивается»: и бледное безволосое тело, и жидкий чубчик, запятой прилипший посреди лба, и голубой окрас «уазика» за спиной Аладына, совпадавший с цветом неба настолько, что автомобиль казался прозрачным, а особенно — что объявления расклеили сегодня, хотя человек пропал еще весной; я укусил пирожок:

— Не слабо тебе жрать в одно рыло?

Я уже знал кто и отдал: подавись! Вова Шелайкин второй год ходил психом: зимой вез с Харькова отца и невесту на «калине», разогнался на спуске у Спасо-Цепляево, вылетел из колеи и пошел юлой — прямо во встречный автобус, водитель автобуса принимал вправо, но легонько, чтобы не свалить в кювет сорок человек, в момент удара только зажмурился и поджал ноги, «калина» врезалась пассажирской стороной ему под педаль — отцу Шелайкина оторвало голову, невесте ребра пробили легкие, утром она умерла.

А Вова только ударился лбом и, пока пил таблетки, казался нормальным, бегал, качал бицепсы, а когда деньги на таблетки закончились, начал ходить по улице Горького, каждый день — от педучилища до Дворца бракосочетаний: бейсболка

с задранном козырьком, огромные черные очки, маской — от лба до верхней губы, пакеты с обувными коробками в руках — заходил в каждый магазин и воровал по мелочам; психованного и накачанного боялись: «Вова, не трогай, пожалуйста, витрины», «Вова, это не твой кофе», «Вова, уходи, пожалуйста, тебе сюда нельзя», он улыбался: «Кто сказал, что мне нельзя сюда-у? А можно мне куда-у?» — у Дворца бракосочетаний он бродил за невестами, мешал фотографироваться и свистел, когда выпускали голубей — чей полетит вперед, жениха или невесты, кто в семье будет главным? Вова никого не бил, но, говорят, заманивал собак в овраг за котельной и душил; я чувствовал тревогу, когда он приближался.

— Ушатал Аладьина кто-то, — Вова расковырял указательным пальцем бумажное лицо Аладьина, — лежит, наверное, где-то в лесополосе, — противно приблизил безглазое из-за очков лицо, — дагестанцы ему товар возили. Или пасет где-то овец? Через год найдется и будет: а? Где? Что? Не помню ничего. Не ищи его!

В ресторан «Эдем» за мной его не пустил гардеробщик, Вова бросил пакеты и, сложив из ладоней бинокль, пошел вдоль витрины в поисках места, откуда я виден весь.

Я отвернулся и показал официантке в меню на «Мясо хрустящее»:

— Не отравлюсь?

— Сами едим.

Я смотрел в айфон: на сайте Управления полиции по Воронежской области Аладьина назвали бизнесменом, уроженцем Вейделевского района, и уточнялось время исчезновения — не в половине второго ушел из дома, а пропал около четырех, «по дороге домой, в центре города» (кто видел? откуда возвращался?), 180–185 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, русые, с лобными залысинами, глаза серо-зеленые, коронка на верхнем правом резце, одет (я глянул в зеркало — Вова темнел за моей спиной): рубашка белая, шорты синие джинсовые до колен, шлепки черные, кожаные. Так, при себе: *Nokia N70* в корпусе серебристого цвета и *Nokia 6700* — тоже серебристого, ключи от квартиры и автомобиля. Я полистал «в розыске» остальных: молодые, счастливые, красивые и все живые! (лишь один неопознанный мертвец с небритыми щеками, распухшими губами, тянется кого-то поцеловать), — изумляясь: да сколько же их: страница, еще, да еще — сотни пропавших, — да никто не ищет как следует!

Я был сильнее, я знал и видел, что возвышаюсь над равнодушной, жадной и слабой массой, — я бы Аладьина нашел, и — всех!

Опросить людей, с кем виделся за последний месяц: вы заметили что-то новое в движениях глаз и губ, заметили тень, упавшую на лицо, тяжесть дыхания, запах тревоги и страха, желание и невозможность что-то изменить — близкие не заметить

не могли; два телефона — детализация звонков, встреч и географических положений; гугл за последний месяц — Аладьин К.И. пытался на аукционе купить землю (проиграл предпринимателю Евлакову Леше, известный деятель) и вернул по решению арбитража три «КамАЗа», забранные у разорившейся агрофирмы за долги — спорили, сколько «КамАЗы» стоят, не тридцать же тысяч! А сколько, по-вашему?! Домашний адрес. Словно всходило солнце, и я разглядел пути, которыми могла прийти смерть.

Я расплатился — многовато вышло чаевых, но некогда ждать сдачу: тетя Рая уже высадилась из маршрутки; у нее ленивый муж, пьющего сына не увольняют с сахзавода только потому, что он выплачивает алименты, старший сын держит кошек и не разговаривает с матерью, все отставленные невестки — непутевые, действующая невестка вытащила из-за подушки кресла тети-Раин тайник — носок с четырнадцатью тысячами на похороны и памятник, у тети Раи (старуха, но мне — получается — троюродная сестра!) нет зубов, глаукома, шишки на пальцах, мокнувшие пятна на лице и давление за двести — надо спешить, только она знает, где похоронен мой прадед Петр; тетя Рая ходит тихо, не дает вызвать такси, я помню ее в белой кружевной блузке, заведующей банком.

Психованный Вова пытается пойти следом, но что-то опутало его так, что шевелиться, шататься

может, а идти нет, он остается разбираться с этими узлами, и с каждым шагом мне от этого веселей; мы ползем в гору меж горбольницей и налоговой под возмущенные сигналы автомобилей — у тети Раи мало сил, она переходит дороги по кратчайшей — наискосок, без «зебр» и светофоров, не дает себя поддержать за локоть.

Совсем недолго тетя Рая может шептать о другом, нужном мне: что Бобыревы запалючие, жадные до работы, а дед мой жил так бедно, что ужинал жареным луком, что бабушку считали нехозяйственной, она словно отвыкла за войну и тюрьму, даже сарая не имела: поставила поросенка в сени — он не вырос больше собаки, развела в сенях кур — они взлетали на чердак и взялись кукарекать, что в наших краях обещает беду, — и всех порубили; всё оставшееся время тетя Рая шепчет ненужное мне о жестокости старшего сына Валеры, уже без надежды, без «поговори с ним», эта жалоба давно сожрала ее, внутри ее тетя Рая устроилась доживать и привыкла; со всеми и всегда — шепотом об одном, громко произнося только «кошмар!» — внезапно и по-новому: так взрываются боеприпасы в равномерно сгорающем строении.

Валера ушел на пенсию из милиции, и спасает кошек, и забыл про мать — а живут окно в окно, на участке (по-нашему — «на плане») два дома.

— Кошек — сорок, наверное! А ему еще подбирают, всех берет — жалко! Кошмар! Всю пенсию

на корм и песок. Лечит! А мне туалет не может сделать, хожу в ведро. А вынести не могу: бетонный блок вот так вот положил поперек крыльца, чтоб козырек кошкам сделать, а то дождь их мочит. А у меня нога через этот блок не задирается. Кошмар. Двести рублей на газ попросила — не дал. И внучки не дают, такие жестокие... А за границу — в год четыре раза. Просила хлеб купить — забыл. Я крыс травила, и его одна кошка через это сдохла — так он мне ее на крыльцо положил, кошмар, — тетя Рая не плачет, просто перечисляет, словно имена школьных подруг или подарки на свадьбу. — Сам за всё время ко мне только раз обозвался. «Еще не сдохла?» — спросил.

— Кошмар, — взял я на себя, словно помог нести сумку.

— За что такое мне? Заикнулся про машину, пришел из армии — вот машина! Привез невесту из Курска — всё купила ей: от трусов до мохерового шарфа. Собирался на рыбалку, а я знала, что к любовнице едет в Симоновку, — я ему подушечку в машину клала. А мне говорят: слишком опекала. Почему такое мне, скажи?

Я не знаю, почему беспомощных стариков пытаются дети. Почему родители мучают беззащитных детей. Почему короткие жизни даже добрых и предусмотрительных людей часто полны страданий и почти всегда кончаются нищетой и одиночеством. Почему болеют дети. Почему никто никому

не помогает. Почему никто никого не жалеет. Почему никто никого не любит так, как нужно. Почему «спасите меня, пожалуйста» слышат только стены и светильники. Я не знаю. Но я верю в силу. Если будешь сильным, ни за что не пропустишь минуту, когда время начнет тебя одолевать, и вовремя заглушишь боль дорогими лекарствами, красноречивый поп заболтает страх, слепых, глухих и жадных детей заменят сиделки, наследующие твою квартиру, — я сильный, я не просто вижу всё как есть, я всё изменю; так, где могила прадеда?

Я ни разу не ходил на старое кладбище в городе. Мы с бабушкой рвали траву только на заречном, по улице Ворошилова, — навещали Варвару, бабушкиного первенца. Свекровь заставила похоронить младенца на заречном, куда наметила лечь сама — а то вы меня навещать не будете. Потом, когда кладбище закрыли, к бабушке пришла родственная делегация в черных косынках: вам могила Варварина еще будет... э-э... ну, как бы нужна? А то мы, если что, хотели бы нашего туда... Да нет, сказала бабушка, я собираюсь на новое, в город, у меня там сестра, да и дочке ближе ходить — вон когда уже на старом в городе не хоронили; вот оно — как зараженный лес, заперто бетонными плитами, и замок на черных железных воротах, и дыра — сразу за воротами — ни дороги, ни тропы, только замерший потоп бурьяна; тетя Рая зашла по шею,

постояла, привыкая, и, оглядевшись, поплыла, разводя травянистые космы и пролезая под древесные, я — следом, и сразу всё стихло, не стихло, нет — «всё» просто осталось за спиной, включая звуки, цвета, расписания работ, а здесь всё это же было, но — другое, я успокаивал себя: белый день, покой, вон же птичьи шорохи и котенок крадется вдоль ограды, безмолвие, но и безмолвие растений казалось ненастоящим, не белым листом, не чистым небом, а толщей земли, которую не прокричишь; тетя Рая кивала встречным:

— О-о, да тебя за бурьяном уже и не видать. Видела тут твоих внуков... Всё носятся, всё работают. А то, что гробница у бабки завалилась... А вот Безлепкины: она умерла, а он повесился, чтоб без нее не жить. А вот тут где-то — Тонечка, не угадываю тебя, но — привет! Вас уже больше здесь, чем нас, — и смолкла, чтобы еще раз не сказать «здесь».

Соскальзывая с бутылок, наступая на шприцы (не хотел бы я здесь ночью...), выпутываясь из провисших цепей, ограждающих захоронения великих — начальников заготконтор и автоколонн... Становилось жутко — равномерность. Равномерность забвения, равенство безнадежности — зарастают все; единственная упрямо ухоженная могила — протоиерей, умерший за год до Сталина; сквозь остальных всех одинаково прет трава, на остальных всех поровну десятилетиями уже сыпятся красные листья — клены и орешник, расстрелива-

ют их красной дробью рябины, дикий виноград пожирает ржавые ограды и сплетает крыши над повалившимися вниз лицом крестами; кресты все-таки победили — от звездочек остались треснувшие бетонные пирамидки, открывшие зернистое, недолговечное нутро, а кресты, сваренные из труб в семидесятых (коммунисты и сторонники хоронили пап и мам, не шли против последней воли), еще торчат, повалились только довоенные — исполинские, из доисторических шпал, скрепленные в пупке винтом и гайкой или прихваченные скобами — вот такой, наверное, должен быть у моего прадеда; ни конфеты, ни свечи, ни пластмассового цветка, ни следа тяпки или лопаты, ни заветренной горки земли, выброшенной кротом, — даже кроты оставили эту землю; без всякого порядка могилы толпились и расступались.

— Извиняюсь, — тетя Рая наступила на распухший, раздвинувший черные доски бугор, и, поозиравшись, выбралась отдохнуть на полянку меж двух обезглавленных постаментов под звездочку и высохших кустов с остатками черных листьев, и вдруг кивнула мне под ноги — вот они, — и показала взмахами: трава росла высоко и ровно, но после каждого ее взмаха, казалось, в траве едва-едва поднималась и застывала волна: Петр Иванович, первая жена, вторая жена, третья — твоя прабабка Мария, она из города, и сестра — пять волн, от первой жены один ребенок, от второй — три, от

третьей — два, когда похоронил третью, тетка ему сказала: еще раз женишься, я тебе дом не подпишу, и пятнадцать лет он прожил один. Гнул колеса, масло сбивал...

Дальше я не слушал, в смятении: шесть детей у моего прадеда, прошло девяносто лет всего, а он стал полянкой, пустошью — вон на нее напозают куча мусора и стелющиеся колючки, ни камня, ни двух четырехзначных цифр, поставленных рядом, как два велосипеда, хоть бы оттуда, от него мне достался гвоздь (вот что я хотел), лоскуток краски, почерк гравера или резчика, а мы уйдем, тетя Рая хрустнет и вытечет под давлением крови, я один дороги не найду (оглянулся, запоминая: тополь), смотрел под ноги — вот же всё ровно, ковер, неизвестная трава растет ровно, поднимая крупные листья, собранные ладошками — по пять, выбираясь из-под нападавших желтых и полежавших сухих — ровные линии, и одновременно, и так же очевидно видел я в траве пять волн — не могла ведь так случайно, неровностями вырасти трава? — я вижу волны травы, хотя их нет: мужская побольше, женщины — поменьше, последняя — почти детская, я не запомнил, какой по счету лежит прабабка, не могу без этого уйти:

— Это Мария?

— Та вот! — недовольно отозвалась тетя Рая — как же я не вижу сквозь землю. — Ты же на лице ее стоишь! Ее еще разрыли недавно почему-то.

И опять зарыли. На Пасху я здесь приберусь. А ты что хотел-то?

— Я вам дам денег, — сказал я, — я вам дам денег.

Давайте поскорее уйдем, в глубине зарослей я заметил лысого мужчину в черной куртке, он закрыл лицо рукой и присел, я подумал про две ближайšie колонии общего режима, они выпускали школьные мелки, я подумал: побег; мы выбрались наружу, там — туман, странная дымка опустилась, нездешняя, такие спускаются только на море — через дорогу, посреди огорода застыл старик, опершись на лопату, напряженно прислушиваясь, словно туман его ослепил, оголил, застал за позорным занятием.

Ветер стал ледяным, и не разберешь — поднялся стоймя вон там, среди мокрой травы, сухой листок, или это замерла веселая птица, или высунулся оглядеться: это что за туман? — серый зверек; я предложил тете Рае куртку, она отмахнулась:

— Не надо, а то старостью заразишься, это штука прилипчивая.

На остановке возле больницы ждала маршрутку низенькая, чуть скособоленная старушка в шапочке седых волос и с неумеренно покрашенными губами; оделась она по-домашнему — теплая кофта на халат, спортивные штаны, тапки, но ехать собиралась на Раздолье. Они с тетей Раей долго улыбались и кивали друг дружке, первой попробовала тетья Рая:

— Анфиса? Чи Валя?

— Галина, — поправила старушка, — а ты Евдокия, что в столовой в электросетях?

— Рая! Ну, короче, знаем друг друга. То-то я вижу, знакомая личность. Что это ты здесь?

— Да дед мой на дневном стационаре, — старушка показала на больницу, — чуть парализовало. А трех коров держим. А у тебя как?

— Да как. Давление шпарит. Да еще все обкрадывают меня, со всеми сужусь. Хотя ты знаешь мой характер — отдам последнее.

Я показал на объявление на стене остановки:

— Аладьин какой-то пропал.

— Это не какой-то, — старуха не оглядывалась, видела уже «Разыскивается», — Костя со Стрелецкой, Алексея Ивановича из депо сын, во второй школе учился, аптека его была на Зацепе...

— Оптика! — подсказала тетя Рая.

— Чи оптика. А объявления Евлаков клеит, показывает, шо ищет. А сам — последний, кто видел. Я, говорит, его из бани домой до подъезда довез, а где он там дальше подался — не знаю. А сам, — старуха улыбнулась и показала четыре шишковатых, задрожавших от напряжения пальца, — четыре миллиона! — Косте — был должен! А теперь бегаёт, объявления клеит. В программу «Жди меня» написал, — расхохоталась, и тетя Рая подхватила, не сводя глаз с разворачивающейся у больницы маршрутки: через сахзавод или с заездом на вокзал? — мне кивнула: давай — и склонилась к старушке:

— А я считаю, жена его. У нее первый муж так пропал, и квартира ей. Второй отравился, и квартира ей. Я слышала, Костя жаловался на рынке: вот связался, вот связался, а куда денешься. Она и с ножом на него бросалась из ревности. Милиция приехала, она им: а что вы ко мне приехали, ищите у его проституток!

— Во судьба, — вздохнула старушка и полезла в халат за монетками, — у Кости. Жена первая пропала, дочку убили, и сам пропал! Ох, высокая ступенька, — и полезла в маршрутку, тетя Рая поддерживала сзади за локти, — всё, всё, не толкай, забралась!

Я остался налегке, один, всё упростилось до нечаянно произнесенного:

— Вдова или друг, — я один знал, как найти человека, сильных мало.

Леша Евлаков жил на Пушкина, за городским парком; зачем-то я повернул на Пушкина, моя тень в тумане всё делала, как я, — не тень: сумасшедший Вова шел за мной, первый раз я видел его без пакетов с коробками, он словно освободил руки для дела и усилием удерживал их в карманах, чтобы не вырвались наружу до поры. Как я, шел быстро, но еще оглядывался: одни мы? Не упустить, когда он начнет приближаться. Нет, он может идти просто так, его дело вовсе не я!

Леша Евлаков торговал на рынке огурцами и ездил по району с бригадой электромонтеров, мечтая

о «жигулях» десятой модели. Жену он нашел в новом доме, куда пригласили «делать электрику»; она была замужем за богатым таможенником, но, как говорили на рынке, «провода сошлись» и еще, как говорили на рынке, «ток пошел не туда»; когда брат жены вступил по завещанию дяди во владение «Воронежэнерго», Вова получил дом на Пушкина, квартиру в кирпичном доме на горе (как у нас говорят, «на семи ветрах»), газовую заправку, оптовую кондитерскую базу и кафе «Пальмира».

Никого навстречу — это особенность нашей местности, вечером — никого, и днем — никого: старики спят в летних кухнях, ковыряются на огородах, либо гнутся к телевизору, не открывая ставней, молодые работают, бухают или крутятся возле рынка, идешь как в пустыне, оглядываясь на каждый звук: а, это груша упала.

Мне показалось: Вова прибавил шагу, и я почему-то прибавил, хотя собирался резко остановиться и закричать: чего тебе? Иди своей дорогой! Я спешил к дому Евлакова, стараясь показать Вова: у меня есть цель, свое дело, я защищен принадлежностью к жизни разумных людей — хотя: как псих поймет? Он еще прибавил, сейчас побежит.

Вова как-то особенно быстро и тщательно огляделся, проверился на все четыре, и на небо, ему на руку, что туман, очки забивали его глаза черными копытами, вырвался из тени и направился через дорогу — ко мне, оставалось несколько ша-

гов, хотя и я успею сколько-то за это время, главное, остановиться под окнами, выглянут на громкий разговор, но мне повезло: на свою калитку Евлаков повесил кривое «Продается», открыто, я шагнул во двор — вот как ловко всё устраивалось! я уже не один! — и калитку захлопнул, она не дрогнула от преследующих ударов, ручка не задержалась — Леша в белом свитере и красных трусах по колено в беседке стоял босиком среди связок кукурузных початков и лука, почему-то подняв указательный палец вверх, словно призывая: «Послушай!».

— Дом продаешь? — я жадно осматривал цоколь, окна и водосток, слово «продается» позволяет лапать без стеснений.

Евлаков кивнул, наклонился и засунул палец в рот так глубоко, что из глаз его полились слезы, понажимал там что-то и закашлялся, сдерживая рвоту.

— Кость, — сипло объяснил он мне, освободив рот, — корюшки нажарил. Чую: впилась, царапает, когда глотаю. Всю ночь и утро мучаюсь, — отломил от хлебной горбушки корочку и отправил в рот, проглотил, не разжевывая, и попробовал, глотая вхолостую, — не пойму, есть там шо или я там себе уже расцарапал? Вроде не мешает... Или мешает? — и опять засунул мокрый палец в рот, но как-то по-другому выгнув, вниз, к языку, и первым же движением что-то освобождаяще подцепил, до-

стал и, страдальчески вздохнув, растер меж пальцев и щелчком отправил в кусты чубушника, который в наших краях называют жасмином. — Она! Я-то думал, на нёбе, ковыряю, ковыряю, а она — на языке! — радостными глотаниями он испытывал работу языка, открывал рот и закрывал, согреваяще обхватывал ладонью горло и почему-то благодарно смотрел на меня, обмякший, умиротворенный, слезливый: вот всё и прошло, и кончилось, вот когда человек добр и счастлив!

— Участок — четыре сотки по БТИ. Яблони из питомника в Россоши, уже родят, не знаю, правда, как фамилия этих яблок. Канализация сухая, можа к соседу утекает, будешь смотреть? — Леше постоянно звонили, отвечал одинаково: «Привет, толстопуз!» — и золотился: перстни, зубы, загар, цепь. — Идем в хату. Ламинат — вез из Москвы, во то шо у нас продают — способствует росту и развитию раковых клеток. Кухню смотри! Жена выбирала. Триста тысяч! И это без техники. Я говорю: шо там за кухня такая? Ну ладно, бери, зайчон, лишь бы нравилась. Спальня — четыреста тыщ! Прямо встали над ней в магазине и стоим — наша! Там и дальше были неплохие, по сто двадцать, но уже и не смотрелись... Я говорю, да возьмем, лапуль, а то начнешь, кукушечка ночная, меня педальить... — Леша пришепнул ладонью губы, словно сказал лишнее, отвернулся и стер слезы из глаз: — сентиментальный стал. Возраст! Как по-

смотрю на нашу малую... — он тихонько заплакал, — или как батюшка приходил дом святить и завел... — прихватил верхней нижнюю губу, пошмыгал носом, — как жить надо... Как, ох... Как хранить целомудрию... Не могу-у!!! — и спрятался, мотая головой, в душевую и включил бешеную воду. — Оцени в гостиной диванчики, кожа! — кричал мне сквозь полотенце. — Как приятно присесть, привалиться бочком к женскому округлому теплу, — вернулся и вдруг хмуро оглядел меня: — А где сумка с деньгами?

— В смысле?

— Серьезные покупатели приходят и вот так — бросают на стол мешок с деньгами, чтобы показать серьезность намерений. Я для чего экскурсии возжу, бизнесом не занимаюсь, выгоды упускаю? Дом нравится?

— Нравится, очень.

— Сам сказал, — закрепил что-то и — мимоходом: — Кто-нибудь знает, что ты здесь?

— Нет, никто. Честное слово! — лишь бы Леша больше не хмурился.

— Пойдем-ка тогда скорее в подвал! — бегом мы спустились вниз. — Тут мобильный не берет, и свет я пока... — Леша отстал и исчез, я остался один в сырых, душноватых потемках, озираясь и трогая пустоту вокруг руками. — Не шевелись, стой где стоишь, — откуда голос? Лестница ведь с другой стороны?!

Я зажмурился — Леша включил фонарь и, ослепив, опустил световой сноп, чтобы просветить меня насквозь:

— Есть одна вещь, которую ты должен узнать, — он медленно приближался, глядя вниз, точно шел по бревну, но целясь мне фонарем точно в брюхо, и остановился: — Бассейн у меня небольшой. Можно сказать, маленький. Такая — купелька, — посветил под ноги, и оказалось, я стою на краю круглой ямы размером в стоячую могилу: шаг — и я там!

Я отшатнулся.

— Пуста-ая, — протянул Леша, — недавно кафель поменял.

— Зачем?

— Что «зачем»?

— Кафель поменял. Тот, что был. На другой.

Леша словно впервые задумался «а действительно?», погасил фонарь и пробормотал:

— Ну, наверное, та плитка — мне, типа, не понравилась.

На сером свету, на ветру мне показалось: как долго меня не было здесь, словно я стал невидимым, и влюбленные будут целоваться при мне, не замечая. Леша замерз, он оглядывался на дом, как на свою огромную, разросшуюся шапку — вот вымахала, понимаешь, продавай теперь, так непривычно с непокрытой головой.

— А зачем продаешь?

— В Воронеж уеду. Уморился я от негативного фона, люди у нас дюже гадкие. Никто не желает добра, — часто-часто заморгал намокшими, словно заледеневшими ресницами и вздохнул: — Сентиментальный стал! Я тут домишко хотел, двенадцатиквартирный, под горой, где маршрутки поворачивают. Чисто для своих, чтобы с гаража сразу в квартиру. С одними чертями из Шебекина договорился насчет бетона. Возят и возят. Я говорю: как бы уже и хорош. А они — еще трюхи. А потом, не знаю, что там у них получилось — кто-то в их завод из гранатомета пальнул, или они... А ко мне ОМОН приезжает и отбойными молотками этот бетон, а там — двенадцать трупов. Слышишь, откуда мне знать?! А тут начали: патрон мелкокалиберный в карман подбросили, джип, говорят, начальнику ОВД подари — оно мне надо? Да на черта мне всё это сладось, если у меня квартира в Воронеже четыреста квадратов и страусиная ферма! Вот только одно: лежу ночью, и — у Леши перехватило горло, и он захрипел каким-то резервным, редко используемым, застоявшимся голосом, — когда весна... Вишни зацветут по-за дедовой хатой, абрикосы... А меня тут нема, — и затрясся, закрыв лицо ладонями, и оттуда, из-под ладоней, глухо спросил:

— Ну, когда в плане денег? Дом выставил за двадцать миллионов, тебе, как своему, — восемнадцать, только жене моей не говори! Можешь — девять, и через две недели еще девять.

— Ну, я пока не готов, — дать понять, что у меня много предложений, — буду думать.

— Что тут думать, ты слово дал! Сказал «нравится». Сегодня вносишь задаток, символически — тыщ двести. Если больше не проявишься — сумма сгорает. При себе имеешь? Паспорт? Права на машину? — Леша больно схватил мое плечо, а второй рукой умело ощупал карманы, выковырял деньги, потеревил, словно пытаюсь оживить, — мелочовка, и затолкал назад. — Ты так и живешь на совхозе, где водокачка?

— Там мать, — меня охватывала дурнота окруженного, схваченного человека, с которым еще немного поговорят и сразу начнут бить; меня никто не держал, но уйти я уже не мог. Потом попытаюсь! Глупости! Просто не реагировать на глупости! Уйду — он про меня забудет. А я еще про Аладьи-на напомню! Свежий кафель в подвале.

— А ты где, если мать ни при чем?

— По Максима Горького, напротив железнодорожного магазина.

— Там, где художник жил, ворота с лебедями?

— Да.

— Ну, завози задаток, короче, сюда до двадцати двух, или я попрошу ребят подъехать, решай, как удобней. И я тебе скажу за дом, — он с задорным хлопком соединил наши ладони, — ты не прогадал! Строил для себя: черепица, стропила обработаны, лестница дуб, я и сам хотел, чтобы не абы кому...

Поэтому скидка, ковер в гостиной оставлю, если кукушечка моя ночная разрешит, добавишь долларов пятьсот...

Я ему позвоню. Обдумаю и позвоню. Надо улыбаться, что же то я так. Всё же просто: набираем дистанцию — удар и победа! У дома Аладьина на Стрелецкой, 18, на лавке под каштанами сидели две ярко раскрашенные женщины — черная и очень худая в белом парике; черная сняла туфли на толстой платформе и поставила их парой, подравняла и отодвинула чуть в сторону — подруги, сложив руки, молча наблюдали за туфлями, словно прочитали в журнале, что, если обувь не беспокоить и наблюдать со стороны, она оживет; я посмотрел на босые ноги черной, она живо обулась и через дорогу (неужели ко мне?) широким шагом:

— Не хотите взять любовнице перстенок из белого золота с бриллиантом четыре с половиной миллиметра, дешевле, чем в магазине? — глаза ее улыбались отдельно от губ, словно покрытых и заклеенных липкой, поблескивающей массой. — Нет любовницы? А откуда вы?

— Из Воронежа.

— А что это вы такой ску-у-учный, мужчина из Воронежа? — уже возле дверей; подруга в белом парике, не оборачиваясь, уходила по Свердлова, чуть только притормозив у витрины зоомагазина «Алабай». — Не желаете шампанского? А водочки? Чай? — ткнула чайник, разбросала ложки в чашки,

повернулась и насмешливо рассматривала меня: чуть подрагивали щеки, выдавая подводную работу языка, обследующего место свежего обрушения или занятого добыванием пищи из расщелины. — Кристина. Не надо с отчеством. Я не люблю фамильярностей. Красивая, незамужняя. Дала объявление в газете «Красивая, незамужняя продаст диван, шкаф, стулья, мужские вещи пятидесятого размера. Всё новое. Хозяйка б/у». — Я поднялся и двинулся к ней, на губы ее начала загрузаться улыбка, тридцать процентов, сорок, она поймала мою руку и довела ее кратчайшей дорогой: сюда! — прошептала: — Что скажешь про меня?

— Мне кажется, ты жесткая.

— Я жесткая? — радостно улыбнулась. — Да, я жесткая. Но это только фантик. В душе мы все пионеры! — потрогала меня. — Кажется, ты уже не хочешь чая, — и, как только кончилось всё: — Ну-ну-ну, не уходи еще, не улетай, побудь здесь, не думай сразу о плохом, пожалуйста! — тыкалась носом в шею, выводила пальцами буквы на груди: — Никто. Никогда. Не узнает. Ничего. Не было. Никто не живет, как хочется, все боятся, что потом кто-то узнает. Представляешь, чем бы занялись люди, если бы точно — никто ничего не узнает? Всё стало бы легко! И ничего не страшно. Вот так надо жить. Всё равно никто никогда не узнает. Хочешь, дам тебе ключи, приезжай в любое время?

— А... у тебя?..

— Считай, ты первый. Всё, что было, — белым застелю полотном! — сторожила мое лицо, малейшее... — как? не так? — Про жену подумал? — и отстранилась. — А у меня любовник есть. Остановить — просто нереал. От секса с ним у меня голова на двое суток отлетает!

— Давно? — Аладьин пропал полгода назад.

— У тебя квартира в Воронеже? Большая? А лоджия есть? Собственник ты один? Мать жива? У нее квартира или свой дом? Сколько лет ей? Ты один у нее? Машина у тебя есть? Новая? Кредит или так взял? Кем работаешь? Сколько чистыми? Подработки бывают? Тысяча рублей? Я за тысячу рублей будильник заводить не стану! С женой расписан? А участок у матери большой? Давно у нее диабет? Да-а... Уж бы отмучилась... Можно тебя попросить: покажи мне свое кольцо, я немножко интересуюсь, что там за клеймо, такое интересное...

— Да вроде обычно...

Она захлопнула кольцо в ладони, как пойманную муху, вскочила и швырнула его в окно.

— Всё! Будет желание — заезжай! — хрипло и страшно хохотала, ударяя ладонями в стекло, валилась на подоконник; пока я шарил в траве, успело стемнеть — я подсвечивал телефоном, прохожие останавливались — нет, шли дальше, нет, у нас не бывает прохожих, наметил, откуда и куда, и — пядь за пядью раздвигал траву, щупал на земле — где!!! — найдись, ну найдись, лишь бы не затоптать, не сде-

лать хуже! — утром прийти? Чтобы на свету? И за бордюр могло улететь. И на дорогу? Выбегал на дорогу, разгонял лужи, но здесь-то фонарь... А покавиться могло. Палец без кольца подрагивал — не могу домой без кольца, словно это не просто ювелирное, не память, символ; утром похожее купить, но как состарить, или сказать: почистил? как и зачем? Если не будет похожих?!

Надо сказать правду. Всё упростить: я потерял кольцо. Что здесь такого? Соскользнуло, сам не заметил. Сидело туго, а смотрю — нет, и сам, главное, вспомнить не могу, на асфальте бы звякнуло, а вот в траву — не слышно, но ничего, ничего, ничего, это ничего, зато не бодем, живы, купим новое — не плачь: это — ничего — не значит!!! — отдышал, вытирая лицо, — вдова Аладьина, не прячась за шторами, переодевалась, я видел белые части тела, нагибающиеся движения, и, против воли, думалось само: этот дом будет моим? — моей жизнью станет вот это, а то, что сейчас, что уже начало кончаться, — моей жизнью быть перестанет? Лишь бы не перестать существовать при переходе, скорей бы! Невозможно, без кольца — под этими листьями? Под этими? А почему у тебя грязные такие руки? Но я же искал. Ходил, где ходил, и искал! В шесть утра, а куда я иду в шесть утра? Мне надо. Куда это тебе надо? Я сказал себе словами про себя: трудная ситуация, но для человека сильного — преодолимая; кто-то словами ответил

мне: я пропал, она расскажет, все узнают, я не могу позвонить Леше без кольца и сказать, что не принесу двести тысяч и не надо никому приезжать потому, что; я могу переночевать почему-то здесь, уточнить: куда именно бросила? — пусть предупредит любовника: не сегодня; или автобусом на Украину, возят без света и запретили приносить и поглощать, прошлый раз перед Харьковом водитель остановил и прошел по рядам: «Невозможно ехать. Я же чувствую, что пахнет чебуреками!»; обмирая от страха, я прикрывал к себе локтем шоколадку, боясь хрустнуть фольгой, — с этой точки я двинулся, кто-то черными штрихами обозначил маршрут: сорок метров на север, затем поворот направо за музыкальной школой, далее прямо сто сорок метров до пожарной части, и далее — на мост, следуйте на мост, за реку, и дальше, куда-то вело и дальше, но я боялся взглянуть на «конец маршрута» — домой? Только домой?

За рекой, на лугу между рынком (в отличие от вокзального и городского этот называли колхозным) и рекой всегда тьма, но сегодня — посреди сияла как бы громадная люстра, я жадно смотрел, радуясь возможности пожить хоть немного еще другим; как только кто-то сказал во мне словами «цирк», я полез с откоса вниз — здесь были когда-то каменные ступеньки; когда я осваивал велосипед, получается, давно, выломали, я сбежал, зигзагами, на пятках, гася опасные ускорения, — помню

еще! — и мальчишкой бросился к пылающему «Касса», прижимая рукой карман с деньгами; в шапите пахло скошенной травой, порочный малый с напудренными щеками, в серебряном пиджаке до колен объявил:

— Воздушная гимнастка. Наша ласточка-синичка! — И грудным голосом добавил в микрофон: — Искушайте ее аплодисментами.

Гимнастка с пушистыми крыльями за спиной выбежала, села на бортик, оглянулась и вдруг взглянула именно на меня так, что я подумал: узнала, — это она работает в круглосуточной аптеке на Максима Горького; но, когда она закинула ноги на шест и поскользила вверх, перебирая руками, я сразу понял: нет, фармацевт бы не сумела; рядом опустился Вова Шелайкин, взмокший, словно весь день гонял за мной, он, не снимая очков (а есть ли под ними глаза или — вообще что-то есть?), смотрел на гимнастку и теребил за пазухой какую-то теплую веревку с петлей; полетели голуби, у дрессировщицы существенно не ладилось, один какой-то белый не хотел летать на обруч и возвращаться на увитое бумажными розами сердечко, долго она терпела, но после третьего проявления непонимания и упрямства, как всегда — вспышкой! — улыбнувшись, коротко приказала что-то ассистенту (неужели «зажарить?»), и он унес белого за кулисы.

— Пойдем. — Вова не смог почему-то выговорить, но показал головой, и я в ответ показал: а мне

интересно, не понимаю, почему должен куда-то с оплаченного...

— Железный человек! — порочный малый показал на маленького грустного армянина с волосатым животом, тот проглотил огонь и повалился лицом на зеленые бутылочные стекла, которые вынесли в специальной тряпочке и долго раскладывали и поправляли особым образом.

Бабушка по правую руку от меня, пожалевшая денег на детский билет и державшая внука на коленях, шлепнула его по затылку:

— Сразу видно, он — картошку ест. И мясо ест. Не то что ты!

— А теперь, — музыку свели в ноль, — а теперь по железному человеку — проедет — ав-то-мобиль! — занавес уехал, и открылся задымленный луг и яростно пылающие фары; как, оказывается, легко уйти — вот же, будь готов. — Давление достигнет, — малый немного запнулся, — э-э, семьсот восемьдесят килограммов на квадратный сантиметр тела. Е-если момент проезда автомобиля сав-падет с ударом сердца, то заводить это сердце мы будем с помощью де... дефибр... — не выговорив или сообразив, что в наших местах никто не разберет, что это за такое — «дефибриллятор»: — Вашей «скорой помощи»!

Железный человек упал лицом вниз, его завалили деревянным щитом — старые «жигули» взвыли, закатились, гроыхая, на щит и осторожно сдали

назад, малый в серебряном пиджаке скинул щит — железный человек лежал без движения, по-новому свернув голову набок, незаметно дыша. Не торопясь малый обошел его, присел, засучил рукав и потрогал некую жилу под скулой железного человека, глядя на зрителей, и вдруг попросил Вову:

— Не могли бы вы, вот вы...

— Куда-у?

Малый развел руки и пожимал-разжимал ладони, словно пробуя: работают ли они, как ему обещали, но зрители поняли, как нужно, и захлопали, как бешеные, Вове: иди, иди, иди, посмеемся над психом!

Вова, не разогнувшись полностью, удерживая веревку под курткой, скрюченно полез к проходу, я бросился через колени и сумки — в другую сторону! — и вырвался наружу, в дыру, возле которой курили клоуны, продрался сквозь канаты, не возвращаться на маршрут, я пройду по темени вдоль реки до улицы, по документам называемой Веселой, никому в голову и... что по холоду и в такое время, упрашивал: не беги, сильный всегда спокоен, но только сбавил ход — дерево, что-то черное, только бы не человек... но все-таки — человек, но хоть не приближался, уходил от меня — это Вова, но так быстро не мог, у меня оставалось — к реке, и встать за лозину, назад, или на ту сторону по подвесному мосту, но он скрипучий, только не в огороды — увязнешь сейчас по колено, — а, не успел, стой, —

человек больше не удалялся — он, как и я, стоял, и — вдруг — это не могло быть просто что-то такое там, этим разрешится и кончится, — окликнул:

— Бобырев?

Я. С каждым шагом я думал новое: вот как совпало — днем тетя Рая, а вечером — вот, ее Валера; еще: как же он оставил кошек? еще чудно: мне пенсионер (живот перевесился через ремень) с плешью, пробившей знаменитые мелкие кудряшки (вклад сомнительной саратовской родни), приходится каким-то племянником; еще: да он же мой крестный, вписали его; еще — всю жизнь мы как-то рядом, он знал, что я, я знал, что он, кивали, здрасти-здрасти, но — никогда не разговаривали; я подошел, услышал его размеренное пыхтение, Валера пыхтел мирно, как домашняя вечная техника, типа газовой горелки, которая сама знает, когда ей и что, иногда только запинаясь и после запинки выдыхал как-то особенно протяжно и немного изогнуто, что ли; и еще! — он же работал в милиции, он Бобырев, крестный со мной — всё сошлось, ничего мне не угрожает; мы шли рядом, и дальше — так и пойдём, я:

— Пропал Аладьин, ну почему его милиция не ищет?

— Как не ищут, ищут, наверное. Да только там уже сто дел сверху, — Валера отвечал, ни о чем не думая, поглощенный движением, — да и денег-то сколько надо, чтобы искать...

— На что денег? Каких денег? — что меня охватило, второй раз за всю жизнь? — я не плакал, совершенно спокоен, лед, но слезы сами полились, словно чужие. — Должны! Человек пропал! Обязаны! Там же всё на поверхности: у вдовы он третий покойник, Евлаков ему должен, а последний, кто видел... Зачем кафель перекладывал? А дело в арбитраже? Что по его телефонным номерам? Геолокация? Дагестанцы. Никому не нужно?! А он — такой же, как ты! И я! Я один, за полдня, без всяких денег раскопал. Ясная картина. Да ты хоть знаешь, что у Аладьина жена первая пропала, а дочку убили? А теперь — до него добрались?!

— Всё может быть. И так. И так. И, как я мыслю, — Валера во что-то давнее вгляделся, но отвечал так же непричастно и тихо, — жена-то была сильно постарше, дочка ее, не Аладьина, и бизнес-то и недвижимость были жены, и жили они не очень... Ну, и Аладьин как-то и — решил. Сперва жена пропала, в Воронеж уехала за товаром. Всё отошло дочери, а потом и дочь, эта, как-то... Так я мыслю. Так, может, у Аладьина не хватило денег за работу расплатиться. Или в цене не сошлись. Понимаешь, — он помолчал и дважды особенно протяжно пропыхтел, — сделанная работа всегда кажется дешевле. Как с врачами. Перед операцией — да всё, кажется, ему отдам, лишь бы... А выписываешься: спасибо, спасибо большое — шоколадка и три цветка. А за что я, собственно, должен? —

и он негромко посмеялся, улыбка съездила налево и направо по щекам.

— Хорошо. Или так. Пусть так. Какая, к чертовой матери, разница? — хотя я чувствовал разницу, уничтожающую меня разницу. — Нужно найти человека!

— Это просто. Обычно закапывают на старом кладбище в старые могилы. Как возьмутся кого перезахоронить, самое меньшее — пять черепов. Смотри, где свежая земля, — и найдешь. Помнишь, ездили на великах к бабке за козьим молоком, вот на этом углу хатка ее и... Привезешь бидончик, разольет мать по бокалам и поставит на комод... — он вел на Стрелецкий луг, прогоняя бабочку, немым черным пламенем промахивающую над плечом.

— Но ведь пропадают — сотни!

— Всегда. Всегда все пропадают — жизнь. Муж один год жену искал, деньги тратил, и мы помогали. А она к любовнику уехала и фамилию поменяла. Мы его привезли в Старый Оскол — вот твоя жена. Он даже к ней не подошел. Стоял и смотрел издали. А Гену Зубенко — помнишь, в армию проводили, в ресторане погуляли, все поехали сразу на вокзал, а он домой за вещами заехал. Ждем, ждем — нет Гены. И за тридцать четыре года так и не доехал до вокзала, еще в пути. Потому, что вся наша жизнь — она... она как поезд.

Мне звонит жена, двести тысяч сгораемой залоговой суммы.

— Как поезд — что? Что — как поезд?! Валера! — небо сгушалось, и луна еще тяжелей наливалась холодным, отчетливым сиянием. — Мне звонит жена! Что значит — жизнь как поезд?! Ничего не значит!!!

— Пришли. Наша улица — узнаешь?

На лугу развели костерки, словно ночевали цыгане, — они уже не ночуют так, осели на Новоездоцкой; нашу улицу — Стрелецкую — давно снесли, и жители уехали в бараки на соцгород, она, думал я, осталась только во мне одним пылающим июньским днем, что не кончится, я верю, и со мною.

— Каждый год собираемся в этот день, садимся кто где жил...

Возле костров расстилали одеяла люди, нанизывались шашлыки, резали хлеб.

— Потанины, Безземельные — помнишь фотографа без ноги? Котовы — возле тополей, у них одних телевизор был. Белогуровы со своим доbermanом, Внуковы, вон Бессоновы — к ним опять из Харькова Толик приехал, дед Уколов шкандыляет... И мы, — Валера достал из-под мышки газету с мокрым пятном, подстелил и опустился на траву, — жизнь! И каждый год — одно и то же: Котовы с Белогуровыми всё спорят за межу, дед Уколов ходит своим уткам за ряской, к Выскребенцевой — всё женихи на мотоциклах, видишь, вышла — поджидает? Тут кое-кто у нас уже и переженился, попра-

вили, что с первого разу не вышло. Одно и то же, скучно?

Нет, быстро подумал я, мир людей, делающих одно и то же, желающих всегда делать одно и то же. Так хотят влюбленные. Чтобы вечно ехало это такси и играла эта песня. Чтобы не вырастали дети, чтобы ночной звонок не означал: мама умерла, — вот этого немногого хочу и я.

— Привет, соседи! — крикнул Валера.

Отвечали, мне из тьмы кто-то погрозил старческой палкой:

— А это не ты у Орищенконых вчера груши стряс?

Я был уверен: никто никогда не узнает.

— К Гуськовой внучка приехала, из Москвы, помнишь?

— Еще бы! — я вздохнул. — Воротынцева...

— Катя.

— Оля.

— Да чи Оля.

Мы глядели на хату Гуськовых, еще крытую почерневшим, окостеневшим камышом, в не закрытые ставнями окна; хата стояла возле колонки, где на мокрой земле собирались осы, почтарка Люда, сдвинув платок с потного лба, чертила по улице свой швейный неутомимый зигзаг, заранее помаживая счастливым белым конвертом, в заросли золотых шаров, пугая индюшек, забивались дети, играя в кулочки, старухи припадали к кухонным

окнам: кто это такой пошел? Изучалась телепрограмма: если «комбинированные съемки» или «консультант — генерал-лейтенант», надо проситься к Гуськовым смотреть; от цветущей вишни улица стояла белой, время — течет, это вода, это ничего, жаль, что эта вода ни во что не налита, а она — так, эта вода — повсюду...

— А вон и Аладьин мопед свой налаживает. Опять, небось, в Солоти к своей Раисе, ты видишь его?

Я смотрел в не определимое словами куда-то, мне казалось: вижу; сначала только «Солоти, стоянка 1 минута» в расписании, вот проступили мостки на Солотянском пруду, белый колпак матери Аладьиной, торговавшей хлебом в магазине «У Лысака» — Лысак ушел с немцами, магазин трижды перестроили, но «У Лысака» не стиралось, — я увидел мопедный бак, оклеенный польскими красавицами в овальных рамках, вот — Аладьин, мы пекли кукурузу — вот он, белобрысый, дует в костер.

— Хочешь, сходи к своим, — предложил Валера, — найдешь?

Надо пройти почти всю Стрелецкую в сторону вокзала под единственным созвездием, которое мы умели находить, мимо лавочек, сделанных из шпал, мимо хриплых «голосов» из транзисторов, и перед тем как тропинка, засеянная осколками шлака и угля, спустится чуть вниз, скрывая под собой яму с мертвыми итальянцами, собранными со

всей улицы в сорок третьем году... Я, зажмурившись, поднял чуть подрагивающую руку, но с первого раза, как всегда, поймал меж двух досок пуговицу, привязанную к леске, и потянул — звякнула щеколда и калитка... К своим — я спускался во двор, как всё выросло,росло, вышло что из той косточки? В холодок — я один, но сколько вокруг наших, привалился от усталости к какой-то обмазанной глиной стене и не испугался, когда вокруг ноги скользнул урчащий пушистый бок — кот, он всегда прибегал, только стучала калитка, я пустил его на руки и чесал брюхо и за ушами, что-то прилепилось, когда ходил, на плечо, где-то я присадил клейкую напоминательную бумажку, сорвал, подсветил айфоном: куриной, старческой дрожью на-карябано «Выключи газ», бросил под ноги, вот... Еще одна! На животе. «Закреть дверь» — долой! Да что это? «Утюг!» Надо следить, а то так облепят... Просто оглаживать себя руками и срывать; за котом шли еще — бесшумно прыгивали с подоконников, крылец, яблоневого веток и завалинок, теснились, сдержанно голося у ног: да что я вам могу, у меня нема ничего, я устал и, словно придавленный котом, чуть повалился отдохнуть на бок, а потом расправился и лег, сразу почуяв, как множество лап заструилось, щекотно забарабанило по мне, вспрыгивая, цепляясь и даже попадая на лицо — не убирая когти.

Двадцатка

Уже пускали, очередь переступала, но не укорачивалась еще, двумя коленями убедительно соблюдая прямой угол, только последней десяткой — петляя и трепеща ленточкой, косичкой воздушного змея, чтобы пропускать легковой автотранспорт, вползающий убедиться: припарковаться негде! — и выползающий назад.

Я встал последним и достал паспорт.

Половину вторника и четверга в службе судебных приставов — приемные часы. Шестой месяц после решения суда я здесь, раз в неделю, стараюсь выжать двадцатку из скота, разбившего мою машину. «Надо работать с приставом», — учат должители, вот я работаю.

На входе, над крыльцом, в щели которого на-
тыкали окурков, что-то там новое...

Приклеили плакат: «Здесь не берут взяток!».

У меня сразу испортилось настроение! Ну что за
ублюдочный обычай поиздеваться над единствен-
ной человеческой надеждой?!

Ага, а еще вот они — два бритых пузана в чер-
ной коже воткнулись без очереди, слепя дежурно-
го удостоверениями, — и я уже предвидел всё, на-
блюдая, как боком заносят они за турникет на-
жранные поясницы и борсетки, знаю: пришли по
личным, своим делам и точно, небось, к моему
приставу Андрею Васильевичу Леденцу; перед де-
журным горкой лежали семечки. Дежурный, что-то
мрачно соображая, смотрел в компьютер, не заме-
чая протянутого и ради сбережения общего време-
ни заложенного пальцем на «номер-серии» моего
паспорта.

— Чо там? Шестерки пиковой не хватает?

Глазами мы поговорили: «Я тебя, тварь, запо-
мню!» — «Да хрен ли ты мне сделаешь, крути давай
свою вертушку!»

К Леденцу я оказался девятым. Я помножил на
среднюю скорость: два с половиной часа. Люди, жи-
вущие свою единственную, как правило, жизнь, тя-
нулись вдоль коридора и теснились, как многото-
чие. На единственном стуле согнулся над какой-то
бумагой мужик, в отчаянии зажав горячий лоб ла-
донью, я пригляделся: мужик смотрел в кроссворд.

— Уже кто-нибудь вошел?

— Женщина, за алименты, — доложил седой и высохший, как рентгенолог, старик и, потолкав соседей плечами, доложил: — Там, где стоит солдат рейха, он стоит твердо! — он заходил следующим.

Я занял за старушкой, за мной занял малый в армейской куртке, на шее его виднелась крылатая татуировка, в растянутой мочке уха покачивалось вживленное кольцо — мизинец пролезет свободно.

Запомнили меня? — и я прогулялся до окна. За окном стояло известное зимнее молчание домов, желающий, чтобы их поменьше замечали, набирал по минутке света растущий день, и черные фигуры двигались на крышах строек. Прочел: «С днем рождения в декабре поздравляем! Тумасян Ованеса Эдуардовича, Ташян Викторию Авгановну, Алакпарова Али-Абдул Касымовича, Муцоева Казима Аликпаровича» — молодцы!

Оглянулся — женщина не вышла, старик не пошел, с первого этажа доносился кухонный перезвон, напоминавший церковный, на кухне за десятку, если рядом не маячили местные в погонах, можно было получить кофе в пластмассовой посуде — я знал. Я всё уже здесь знал. Я здесь поселился. Вот только семью еще не завел себе ни в каком кабинете. А то было бы очень удобно!

Леденец — худой носатый парень с бесстыжими вороватыми глазами и непроспавшимся видом — не запоминал меня: я удивлял его заново тем, что

существую на свете, потом он говорил «а-а...», находил каждый раз трудно и каждый раз в новом месте папку скота, разбившего мою машину о бетонную клумбу и проехавшего на крыше по Ленинградке, папка всегда оказывалась пуста, Леденец щипал подбородок и врал, что «направил запросы» и ждет ответов на них, давал мне мелкие поручения: уточните фактический адрес проживания, бегом узнайте новый мобильный телефон скота, и в четверг я... В четверг у него был день рождения, потом он болел, уезжал «в суд», брал отпуск, обещал быть «попозже», но не приходил, и не делал ничего: сумма, не та сумма, что там он поимеет с «двадцатки», что ему мое бляенье «Я буду вам — очень — благодарен», а я ходил и ходил, чтобы однажды сказать: зато я всё, что мог, сделал.

Пожалуйста! — да хоть раз бы я ошибся! — пузаны в коже поднялись на второй наш этаж, покрутили головами по стрелкам, и свернули именно в наше крыло, и отсчитали двери именно до нашего кабинета «восемь» — пихнули дверь (очередь вздохнула — лезут свои!) и осторожно, но со значением взглянули из трех приставов именно на нашего — Леденца, так, словно договаривались с ним, взглянули, но дверь все-таки прикрыли, оставив смотровую щель, и переступили два шага вправо к дверям местной начальницы — довольно симпатичной блондинки. Я столько бы ей мог рассказать. Если бы это имело малейший смысл.

Один пузан уже нагло стукнул к блондинке и распахнул дверь.

Ему резко велели:

— Закройте дверь! У меня люди!

Второй пузан пробурчал: «Так, это что за...», и постучал, и распахнул еще раз:

— Мы из уголовного розыска, мы по делу.

Ему ответили уже порезче, что хозяйке кабинета, в принципе, безразлично, откуда они, пошли вон, уроды!

Приставы ленились встать и закрыть дверь, мне был виден только посетитель, серолицый, с грустными глазами. У живого человека есть немало поводов иметь мрачные глаза. Его мрачно допрашивали:

— Алименты платил?

— Сколько мог, посылал, — уклончиво ответил серолицый и обиженно пожевал губами.

Пузаны обиженно кому-то звонили:

— Да тут каждый из себя начальника корчит!

Старик, как и все русские, чья очередь следующая, пытался понять, «скоро ли», по приближению к дверям и увеличению громкости голосов, по шлепанию печатей (значит, отдают какой-то документ и — привет!), по ругани (прощаются), тоже заглянул в кабинет и сообщил очереди:

— Скоро женщина выйдет!

— Почему это вы так решили?

— Уже встала.

— Там просто стула нет, там всё время стоишь, — и я посмотрел по левую руку на девушку с сонным кошачьим лицом.

— Я такая красивая, — сообщила она через двадцать минут, женщина так и не выходила, — и меня вечно в чем-то подозревают. Жена соседа бросила в меня с балкона яйцом. Неприятно. А мы с соседом просто друзья. Из ЖЭКа звонили, чтобы я не приставала к сантехнику. А он весь в наколках, лучший такой. Я, говорит, хоть на антресолях останусь у тебя жить! А вы куда едете после этого?

Пузаны, выстояв очередь к блондинке, гневно вступили в кабинет. Через пару минут блондинка постучала каблуками и зачем-то заперлась изнутри.

Посмотрел по правую руку — старушка в ошейнике из бус показывала желающим, как она разговаривает с приставом Леденцом, как пускает корни в кабинете, как обвивает приставу шершавым стеблем плюща, находя нагретые солнцем, крохотные выпуклости для зацепки, места для жизни:

— Спрашиваю: женат, Андрюша? Жарко тебе, родной? А царапина на руке — кошка? Как дела твои? Говорит: нормально. Я: не говори «нормально», а то так и будет нормально, говори «хорошо». Год так хожу. И — ничего. Даже за операцию не заплатили, только смеются надо мной.

Вокруг двигались, очереди двигались все, хлопали двери, только мы «к Леденцу» стояли — ноль человек в час, уже подошли шестнадцатый и сем-

надцатый, уже блондинка-начальница отперлась и, бросив пузанов одних, задумчиво выглянула в коридор, осмотрела нас и, не заходя в кабинет восемь, словно избегая вредного запаха, крикнула:

— Андрей! Леденец! Зайди ко мне. Паспорт захвати!

Леденец выгнал плаксивую женщину в красной шляпе, отсудившую алименты, она — целый час, тварь, отстояв в кабинете! — пообещала:

— Я подожду!

Она еще не всё! Она еще «подождет» и продолжит!

Повернуться, что ли, и уйти?! Я умирал себя: нет, выдержка, побеждает терпеливый...

Блондинка, не глядя на Леденца, запустила его в кабинет к пузанам, а сама тихонько пробежалась в кабинет восемь, на освободившееся место, и с него прокричала кому-то в телефон:

— Олег Петрович! У нас чэпэ! Пристава Леденца арестовал уголовный розыск за участие в похищении предпринимателя!

По коридору плечисто забегали какие-то местные, из кабинетов выглядывали испуганные кудряшки, крики, разойдитесь, не мешайте, словно в кинематографической больнице, на колесиках, ангелы врываются в реанимацию и катят в операционную того, кого уже не спасти! — пузаны вывели Леденца за руку, скрепленную наручником.

— Андрюша, прием-то будет? — не растерялась старушка.

Больше чем обычно взъерошенный Леденец сонно обернулся, увидел ее, и неопределенно повел головой, и пропал, и все вернулись в кабинеты, очереди задвигались, кроме нашей. Я посчитал: пока дела передадут новому приставу. А у него своих. Пока вникнет. Месяц. Полтора.

Женщина в красной шляпе сказала:

— Он сказал, чтобы я подождала, — и заметила мое движение на выход, — а вы не будете стоять?

Очередь стояла без изменений, кто читал — продолжил, остальные смотрели на меня.

— Приема не будет, — добавив «бараны!» про свой народ, — можно уходить!

Старушка убежденно сказала:

— Он не может не вернуться. Вон сколько людей его ждут.

Я сбегал по лестнице и от подоконника, на котором писали «пояснения», еще раз обернулся: очередь заново перетрогала друг друга «кто за кем» и неподвижно ждала, от меня уже и следа не осталось; старик рассуждал:

— Все же сговорились! Все за нашими спинами сговорились. Врачи платят производителям жевательных резинок, чтобы те кариес вызывали. Владельцы автомоек платят тем, кто делает машины, чтобы грязь лучше липла. Предприятия «Ритуала» платят кому? Фармацевтам! А мы эти лекарства пьем!

Почему мне обидно, что я ушел? Словно знают они что-то, чего никогда не узнаю я, и не чувству-

ют рабства, а я раб! Раб вагонного проводника, кассира, пристава! У таксиста на взволнованных побегушках. Я даже от парикмахера не могу отделиться и добиться независимости!

Под столбом с объявлением, похожим на некролог («Риелтор. С семнадцатилетним опытом работы»), под начавшейся метелью, уткнувшись друг в друга, стояли такси, водители топтались кружком у киоска «Печать».

Поехали!

— Что это у вас?..

— Организационное собрание, — таксист, не сбавляя хода, приоткрыл дверцу и выпроводил наружу плевков, — поступают, понимаешь, жалобы от клиентов. Дескать, везет его таксист, а сам — пиво потягивает. И вот — целое собрание! Чтобы не повторялось. Хочешь пива — остановись и выпей. А на ходу — это низкая культура!

Участковый опаздывал. Как и позапрошлый раз. Прошлый раз он вообще забыл. Еще участкового ждала несчастная, как и всякая некрасивая женщина, с благодарностью откликавшаяся на любой мужской вопрос:

— Загар у меня с участка. Полола всё лето грядки. Я не тусуюсь. Свекровь сказала: если у тебя есть семья, то друзей быть не может. Отпуск? Тоже на участке. Тридцать соток. Одного компота закрыла сто шестьдесят восемь банок. Чем увлекаюсь? Консервированием. Встаю в шесть утра. Москву не люблю, квартира в Текстильщиках — самый гряз-

ный район в Москве. Поэтому живу на участке, в Бронницах. Самое грязное место в Подмосковье.

Я не выдержал и вышел из опорного пункта посмотреть, как катят машины в сторону центра и несутся — на МКАД, участковый вылез из нового «опелька» с цифрами 111 в номере, старшеклассник просто, розовые щеки, кости, «тройка» по физвоспитанию — если бы не форма!

Участковый растерянно ощупал карманы:

— Ключи забыл! Может, мы... прямо здесь?

— Там вас женщина ждет.

— Да я там должен ей бумажку напечатать, — участковый показал пальцами ритмичную и бодрую мелодию, извлекаемую поочередно нежными прикосновениями пальцев.

Мы отошли к тополию с подкрашенным горлом, и я легонько пнул сугроб.

— Был я у вашего должника, зашел как бы случайно... Живет с матерью. Квартиру свою сдает. Не работает, бухает. Имущества как такового нету. Вообще, мне показалось, жить ему недолго. Так что... — вслух «так что...» участковый не сказал, но я именно это услышал; нет, надо двигаться, вцепиться все-таки в ускользящую жизнь:

— Так, может, заставить сдавать квартиру по договору. Пусть с этих денег и выплачивает, хоть что-то...

— Квартира муниципальная. Он не сможет ее официально сдавать. Скажет: пустил пожить школьного друга. А жилец подтвердит.

Участковый еще раз окончательно замолчал; ну хорошо, я сам скажу:

— То есть ничего сделать нельзя?

— Ну... Э-э... Зависит от того, насколько вам это надо, — вот теперь, оказывается, только начинался разговор. — Вы знаете, что он судимый?

— Нет.

— За наркотики. И до сих пор употребляет, причем тяжелые. Я его так, по жизни спросил: когда последний раз? Он говорит: да на прошлой неделе, — и участковый умело взглянул мне прямо в мозг: соображается там что-то, среди живых я и продвинутых или работаю здесь почвой: надо занести оперативнику в наркоконтроль, чтобы скота прихватили и накрутили за сбыт и хранение, скот, чтобы выскокить, согласится на сверхсрочную приватизацию и продажу квартиры: я получаю свою «двадцатку», а может, и побольше за волнения и хлопоты, остальное — участковый, оперативник, следователь, нотариус, риелтор; и разбежимся, скот возвращается к маме — нормальная, работающая схема, думал я, понимая, что мне никто уже ничего не должен:

— Ну, раз ничего сделать нельзя, значит, тогда нельзя, — я извиняющеся улыбнулся, как разоблаченный инопланетный пришелец, сохранивший пожизненные ограничения в овладении местной жизненной средой. Не хватает пары щупалец на опорной конечности. Но так, внешне — почти незаметно. Можно сказать, что не мешает.

Отслужив семье и закону, исполнив всё, что возможно, оказавшееся немногим, потеряв двадцатку, добытчик поплелся к своим квитанциям и адресу; наконец-то настала зима, настоящая зима, сыпал снег, словно услышав слово «пора», словно слово «пора!», я один, в России человек всегда один, и окружает его не равнодушие, его окружает ненависть — все против лично его жизни, он, любой, здесь никому не нужен, здесь лишние не нужны, здесь вообще-то очередь, но очередь, потерявшая свою священную бумажку с «кто за кем», — я возвращался, заготавливая ответ на «как сходил?». А может быть, спросят: «Ну, как там?».

Внутри (стирал ее, убивал, какой-то древний вирус!!!) всплывала строка: какого числа идти следующий раз к приставу? Хватит.

Из подъезда навстречу (этот день мог кончиться только так, я приготовился, хотя и не знал, что приготовился) вслед за незлобной собакой, выскочившей под долгожданное небо, вышел мужик, я надеялся — показалось, но нет: в руке он нес скомканный прозрачный пакет. Спасти могло бы: мусор. Жрал что-то в лифте, а пакет с крошками сейчас швырнет в помойку или под ноги. Нет (я как замороженный смотрел), пакет он вынес пустой и просунул в него собственную руку, чтобы поднять с заснеженной обочины дерьмо своей собаки, — я видел, но поверить не мог: вижу сам.

Да что же это такое?!

Консьержка, всё читая на моем лице, заранее встала и успокоительно взмахивала рукой:

— Спокойно! Спокойно, это англичанин. Англичанин! Пугает, понимаешь, людей. Все шарахаются!

Моя дочь боится только индюка, как капель — роняет слоги, собирает из них слова, окропляет живой водой, они оживают и весело идут.

Вот они, первые плоды детского сада:

— Зарядка! Встань сюда. Образуй треугольник! — дернула меня за руку. — Видишь мысленную черту? Которую нельзя переступить. А?

Я киваю: да, вот она всё поняла, дело в этом. Черты на самом деле как бы и нет, но ее всё равно нельзя переступить; вот и ночь, луч света. Луч света скользит. Или падает. Может еще ползти. Сказку? Ну, например: жили-были два столба. Один с фонарем и дорожным знаком, второй — с проводами, ящиком и штырем. Оба красились по колено... Результата нет, и я запеваю, начав с «Ах ты, котя-коток...», дальше, не задумываясь, многолетне нахоженной тропой, по всему репертуару, неизменному, единственному и свидетельствующему в случае чего «за» или «против», как отпечатки пальцев, до самого дна, и вдруг обнаружив, что с чувством вывожу над спящей дочерью: «В праздники и будни вместе с нами Ленин, и живет он вечно в памяти людской...»

И в ужасе замолкаю.

Содержание

Света, или День, когда я стал настоящим мужчиной	5
Цифры	78
Миллионы	94
Ксенос	132
Гипноз	177
За дармоедами	195
Живые помощи	228
Леф и мыф	272
Кошки	297
Двадцатка	337

Литературно-художественное издание

Терехов Александр Михайлович
ДЕНЬ, КОГДА Я СТАЛ
НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ

Рассказы

16+

Заведующая редакцией *Е.Д.Шубина*
Редактор *А.С.Портнов*
Технический редактор *Т.П.Тимошина*
Корректоры *И.Н.Волохова, Н.П.Власенко*
Компьютерная верстка *Ю.Б.Анищенко*

Подписано в печать 16.08.13. Формат 84x108/32.
Усл. печ. л. 18,48. Тираж 5000 экз. Заказ № 6412.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

ООО «Издательство АСТ»
127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3

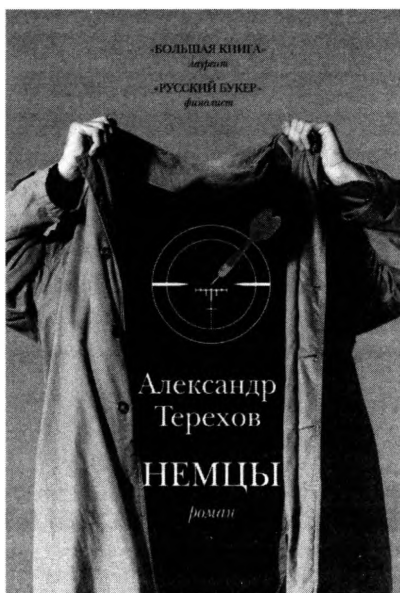
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Премия «Национальный бестселлер»,
шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга»

Александр Терехов

НЕМЦЫ

Роман



Эбергард, главный персонаж романа «Немцы», руководитель пресс-центра в одной из префектур города, умный и ироничный скептик, вполне усвоил законы чиновничьей элиты. Младший чин всемогущей Системы, он понимает, что такое жить «по понятиям». Однако позиция конформиста оборачивается внезапным крушением карьеры. Личная жизнь его тоже складывается непросто: всё подчинено борьбе за дочь от первого брака. Острая сатира нравов доведена до предела, «мысль семейная» выражена с поразительной, обескураживающей откровенностью...

«День, когда я стал настоящим мужчиной» –
книга новых рассказов Александра Терехова, автора романов
«Каменный мост» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА») и «Немцы» (премия «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР»).

Это истории о мальчиках, которые давно выросли, но продолжают играть в сыщиков, казаков и разбойников, мечтают о прекрасных дамах и верят, что их юность не закончится никогда.

Самоирония, автобиографичность, жесткость, узнаваемость времени и места – в этих рассказах соединилось всё, чем известен автор.

«Я смотрел на белокожую девчонку – высокую, тонкую, с плотными, круто изогнутыми бедрами, – полька?

Нет, говорит по-немецки. Как она прыгает в воду, трогательно зажимая пальцами нос.

Как плавает, как двигаются ее ягодицы, поднимаясь над водой, словно сами по себе. Как уже совсем другая,

притихшая, выходит из кабинки для переодевания в сухое, распуснув по плечам волосы, и украдкой, на краткий миг

оборачивается на меня свежезагорелым лицом –

так кажется, так всегда кажется, когда на кого-то смотришь, что и на тебя однажды посмотрят в ответ.

– Вот, – показал я сыну, – самая красивая девчонка

на этом пляже, – и почему-то добавил: – Но на таких не женятся»

www.ast.ru

ISBN 978-5-17-080912-7



9 785170 809127